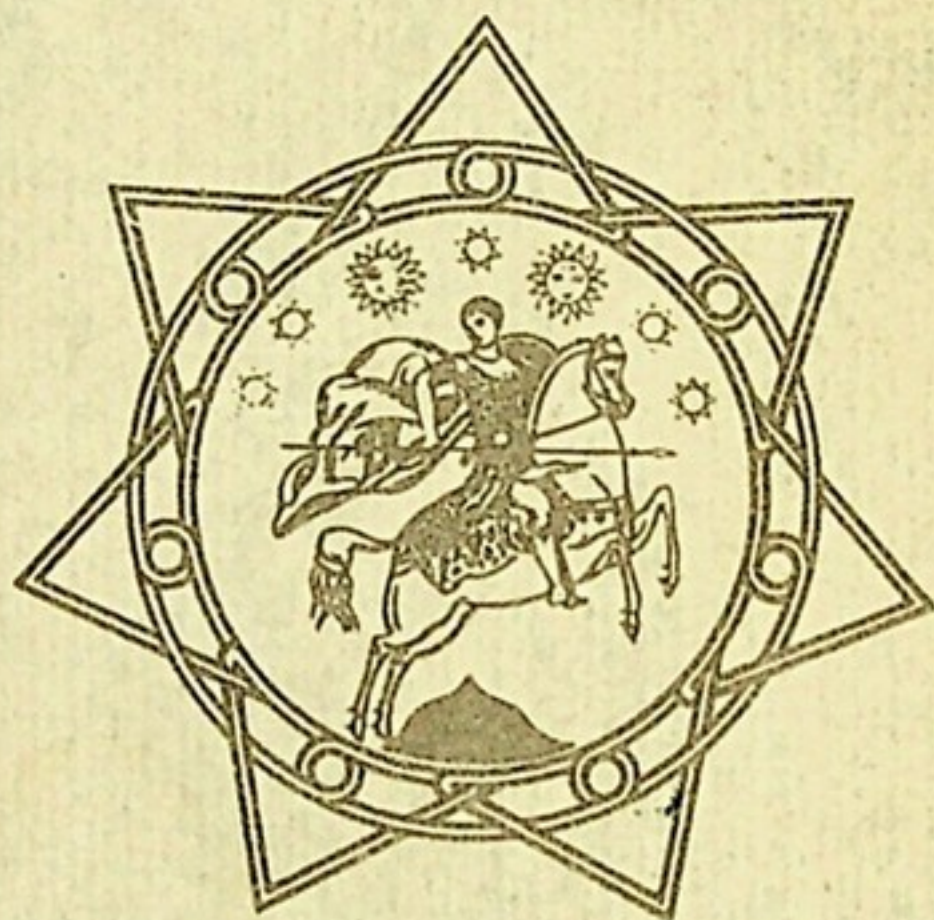




1992

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГРУЗИЯ10.3357
1992/3



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1992

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Союза писателей Грузии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

РОДАМ ЧАЧАНИДЗЕ. Кровавый дождь на
Ниле. Роман. Перевод Киры Вольфен-
зон 3

ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

ТЕИМУРАЗ I. Стихи. Перевод Георгия Аш-
кинадзе 86

МИХАИЛ ДЖАВАХИШВИЛИ. Рассказы. Два
сына. Перевод Левана Вардзела-
швили. Разорванная цепь. Перевод Ан-
ны Фалилеевой 90

ЛАДО СЕИДИШВИЛИ. Стихи. Перевод Юрия
Юрченко 156

1

НАША ТРИБУНА

ВАЖА ГИГАШВИЛИ. Восхождение мутн . 158

МАНАНА ГИГИНЕЙШВИЛИ. Не будем от-
гораживаться 175

РОМАН МИМИНОШВИЛИ. Удел Богоматери 180

КАМИЛЛА КОРИНТЭЛИ. Попытка диктатуры 187

ДИАЛОГ

ВОЙНА С САМИМ СОБОЙ (Беседуют писа-
тель Джемал Карчхадзе и критик Ростом
Чхеидзе) 198

КОНТАКТЫ

АНДРЭ КАРБЕЛАШВИЛИ. Грузины в Бель-
гии 218

НЕКРОЛОГ

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ 233

КРОВАВЫЙ ДОЖДЬ НА НИЛЕ

РОМАН

Книга первая

Шайх-ал-балад каирских мамлюков Ибрагим-бей ночью возвратился из Булака. На рассвете он предстал перед Хиором-Ахмедом-пашой и вручил ему послание от шейха-уль-ислама, в котором сообщалось, что хасне, который предстояло доставить в Мекку и Медину, готов.

Когда длинная тень от цитадели Мукатам пересекла Ар-Румаил, Ибрагим-бей со своей свитой вступил на Кара-майдан. Впереди гарцевали недики — шесть отборных скакунов, украшенных золотом, серебром и драгоценными камнями. Каждого из них вели по два юных мамлюка, облаченных в златотканые одежды. Следом широко шагали шестеро сираджей в красных плащах. За ними, перебирая точеными ногами, как в танце, выступал вороной жеребец шайха-ал-балада. Позади Ибрагим-бея в два ряда шли шесть пеших саисов, а за ними — беги всех двадцати четырех санджаков Верхнего и Нижнего Египта со свитами и джанизарами.

Шайх-ал-балад восседал на своем красавце коне, глядя в сторону Мукатамского холма, где возвышался оплот Каира — грозная его цитадель. Процессия миновала мечеть Ин-Стук-Салах, академию, госпиталь султана Калауна и наконец вышла на маленькую площадь. Здесь находилась гордость Египта — грандиозная мечеть султана Хасана, знаменитая своими необыкновенно высокими минаретами и крепкими стенами. Ибрагим-бей спешился, бросил поводья подбежавшим саисам и направился к мечети. Стремительно преодо-

лев три ее ступеньки, он, не нагибаясь, скинул с ног мягкие, утепленные сапоги из красной кожи и переступил порог святилища. Все двадцать четыре бега последовали его примеру.

Шейх-уль-ислам — маленький белобородый старец в окружении мулл и верующих уже шел к большому серебряному ларю — махмале с откинутой высокой массивной крышкой, стоявшему в середине мечети. Заметив вошедших бегов, он остановился и громко воскликнул:

— Велик Аллах и Мухаммад, пророк его!

Два муллы тут же передали ему большой зеленый бархатный ковер — кисву. Шейх-уль-ислам принял ее не глядя, — его маленькие, хитрые глазки были устремлены вперед, на мамлюков.

— Пророк наш, Мухаммад, прими от нас этот ковер в качестве хасне, и пусть он весь год украшает твою могилу. Доставить его тебе велено шайху-ал-баладу.

Торжественно произнеся эти слова, шейх-уль-ислам приблизился к серебряному ларю, склонившись над ним, бережно уложил в него сложенный вчетверо ковер и отступил на несколько шагов. Два молодых муллы в свою очередь подошли к махмале и медленно опустили ее крышку. А шейх-уль-ислам уже возносил молитву Аллаху и его пророку. Когда он кончил молиться, четверо рослых мамлюков осторожно подняли махмалу за специальные ручки и застыли, глядя на шайха-ал-балада. Тот кивнул, и все двинулись к выходу. Впереди шел Ибрагим-бей, за ним — мамлюки, несущие махмалу, за ними — остальные: беги, муллы, верующие. Шейх-уль-ислам проводил их только до порога.

Площадь перед мечетью была заполнена любопытными, сбежавшимися сюда со всего Каира поглазеть на зрелище. Толпы черни, как разлившийся Нил, затопили все окрестные улочки до самого госпиталя султана Калауна. Шум стоял невообразимый. Магрибы, чауши и джанизары с трудом расчистили место вокруг белого священного верблюда* и кое-как проложили к нему путь для процессии.

* Верблюд, предназначенный для жертвоприношения на могиле Мухаммада.



Мамлюки бережно опустили серебряный ларь на землю рядом с верблюдом. Им на смену пришли шестеро других — настоящие великаны. Они легко подняли его и установили на специальной платформе, укрепленной между горбами животного. Саисы подвели Ибрагим-бею его вороного, он легко вскочил в седло, и процессия Амира-ал-Хаджи двинулась по направлению к воротам Баб ал-Футух. Впереди с криками и свистом шли магрибы, чауши и джанизары, решительно орудуя плетью и короткими пиками. И толпа неохотно расступалась перед ними.

Когда процессия вступила на мост Кантарет-аль-Дженени, Ибрагим-бей оглянулся, отыскал в свите кашифа Али и кивком головы подозвал его к себе.

Али было всего двадцать два года, однако то ли из-за длинной бороды цвета кокосового ореха, то ли из-за не по возрасту печального и умного взгляда больших черных глаз он казался гораздо старше. Повинуясь знаку Ибрагим-бея, кашиф припустил своего коня и, когда процессия миновала мост, оказался рядом с патроном. Прямо перед ними плавно вышагивал белый верблюд. Некоторое время они ехали молча. Потом Али слегка перегнулся в седле в сторону Ибрагим-бея. Тот ласково посмотрел на него и шепотом спросил:

— Ибрагим-эль-Черкез появился?

— Только что, дженаб, и конь его весь в мыле.

В ответ Ибрагим-бей только кивнул. Кашиф Али по обожженному солнцем и испещренному морщинами лицу своего патрона и названного отца читал так же легко, как в Коране. Вот и сейчас он все понял без слов и, проехав еще немного рядом с ним, потихоньку отстал.

Вскоре впереди показались огромные ворота Баб ал-Футух, то есть Врата Победы. Они представляли собой выложенную зелено-синими изразцами арку, по обе стороны которой возвышались башни. Башни были отделаны такими же изразцами. Каирские мальчишки, как ящерицы, вскарабкались на высокую стену и расположились на ее уже горячих камнях. Им тоже хотелось поглазеть на то, как процессия Амира-ал-Хаджи, направляющаяся в Мекку, выйдет из главных ворот города.

С криками, топотом и боем многочисленных буб-



нов процессия прошла под аркой Баб ал-Футух и вступила на Восточную дорогу. За стеной, сложенной из белоснежного камня, с таким трудом доставляемого из Верхнего Египта, остался Каир с его бесчисленными каналами и пятнадцатью мостами, перекинутыми через них. Всего в этой стене, окружающей город, было одиннадцать ворот.

Пройдя неспешной иноходью километра четыре, паломники сделали остановку. Здесь мамлюк-бегам предстояло распрощаться с Ибрагим-беем. Как правило, беги сопровождали своего шайха-ал-балада в Мекку — ведь путь был долгим и небезопасным, однако на этот раз Ибрагим-бей решил проделать его без них. Дело в том, что ветры, дующие с востока и с севера, давно уже доносили до страны пирамид одну и ту же весть: со дня на день должна начаться новая война между Россией и Турцией. Именно это и заставило шайха-ал-балада оставить бегов в Каире. Он знал: тот, кто покидает свой дом, отправляясь в дальний путь, должен оставить в нем верных подданных с острыми саблями. В противном случае не исключено, что, вернувшись, он обнаружит в своем доме другого хозяина.

Первым к Ибрагим-бею подошел Ридван-бей. Высокий, дородный, с могучими плечами, он крепко обнял его, опустив ему на грудь свою тяжелую голову. Его примеру последовали Исмаил-бей, Ибрагим-эль-Черкез, Латип-бей...

Когда беги снова вскочили на коней и ускакали в сторону ворот Баб ал-Футух, шайх-ал-балад еще долго смотрел им вслед на облако поднятой ими пыли. Потом он медленно повернулся, внимательно оглядел свою поредевшую свиту и тронул коня. Он ехал, опустив голову, наблюдая за тем, как горячий песок засыпает глубокие следы, оставляемые широкими копытами идущего впереди него верблюда. «Такова и наша жизнь, — думал он. — Ты идешь, идешь, а ветер заметает за тобой следы твоего существования на этой земле». Однако эти грустные размышления не мешали ему заметить, что с ним поравнялся всадник на рыжем жеребце. Не поднимая головы, он спросил:

— На чем мы остановились, Али?

— Ты говорил, дженаб, что Мухаммад умер, когда ему было шестьдесят три года...

— Да... Великий человек был наш пророк Мухаммад. Он дал арабам единого Бога и единый завет. Он не умел ни читать, ни писать, однако создал Коран. Сперва Коран под его диктовку писал некий поэт из Мекки — Абдаллах-ибн-Саади. Но потом им овладела гордыня, и он пожелал сравняться с пророком, и тот перепоручил это дело своему рабу Зеиду. Зеид был предан своему господину и до конца верно служил ему. Мухаммад любил его, как своего верблюда аль-Каваса...

— Дженаб, а женщин пророк любил?

Ибрагим-бей нахмурился и покосился на кашифа Али.

— Блуд был ненавистен пророку. У него было двадцать пять жен и две наложницы — Мариам и Шорена, из коптов. По новому закону он имел на это право. Но больше всех Мухаммад любил Айше, с которой был помолвлен, когда ей было семь лет. Когда ей исполнилось девять, он взял ее в жены. Это в ее шатре скончался он в одиннадцатом году по хиджре и оставил нам единую и могущественную Аравию — арабское государство, которое вскоре предстало перед миром как великая сила.

Мухаммад проповедовал арабам единого Бога. В восемнадцатой суре он записал: «Все, что в небе и на земле, поет хвалу Богу, в его власти сила, в его власти слава, только он может все.

Покоритесь Богу, внемлите его пророку; если же вы отвернетесь от него, не его то будет вина; его долг — лишь проповедовать вам принародно.

Бойтесь Бога. Будьте послушными, покорными...»

Белый верблюд остановился. Шайх-ал-балад натянул поводья. Перед ними был оазис Ахмадие. Именно тут предстояло им стать лагерем. По обычаю процессия Амира-ал-Хаджи выходила из Каира на два дня раньше сбора в этом оазисе всех правоверных, решивших совершить паломничество в Мекку. Итак, впереди было два дня ожидания и отдыха перед долгой дорогой.

Ибрагим-бей спешился и зашагал по горячему песку. Кашиф Али последовал за ним. Так они прошли почти четверть километра. Наконец Ибрагим-бей остановился. Перед ними, как большое зеленое блюдо, ле-

жал оазис. За ним стояли в ряд похожие на небольшие пирамиды три дюны, поросшие ползучим растением пустыни — апрой, которая добралась уже почти до самых их вершин.

— Мой шатер поставьте здесь, — распорядился Ибрагим-бей, оглянувшись на кашифа Али.

Тот поклонился, приложив правую руку к груди.

— Я думаю, уже пора обедать, дженаб.

Шайх-ал-балад кивнул и пошел назад к своим воинам.

* * *

На третий день с раннего утра начали прибывать паломники. Первыми появились семеро на ослах и верблюдах. Они гнали перед собой голов двадцать баранов с запавшими боками. Несчастные животные едва передвигались, и было ясно, что долго они не протянут. Следом явились еще пятеро, тоже на верблюдах. То были такие дряхлые старцы, что казалось, не то что до Мекки — до Суэца им не добраться живыми. Потом появилась большая группа убогих и калек, молодых и старых, кто на верблюде, кто на осле, а кто пешком. Часть из них была в грязных, пропыленных лохмотьях, другая — в чем мать родила. Постепенно паломников собралась целая толпа. Перекликались люди, кричали ослы, блеяли голодные бараны. Шум стоял, как на каирском базаре Блаженного Мустафы.

Когда солнце стало склоняться к западу и зной начал спадать, Ибрагим-бей отдал приказ сворачивать лагерь. Вскоре длинная шумная процессия медленно двинулась на восток. Впереди на вороном жеребце ехал Ибрагим-бей. Издавна существовала традиция, согласно которой караван паломников в Мекку сопровождал именно шайх-ал-балад со своими воинами. В их обязанность входило защищать караван от разбойников. Много дней продвигались они по пустыне от оазиса к оазису, укрываясь где-нибудь от полуденного зноя. Все это было знакомо Ибрагим-бею еще с тех пор, как он совершил свое первое паломничество, будучи рядовым воином-мамлюком. Затем Аллаху было угодно, чтобы он прошел этот путь во второй раз и в третий. Чаще всего бывало, что правоверному мусульманину так ни разу в жизни и не доводилось увидеть священ-

ную Каабу, которую Мухаммад перед смертью объехал семь раз на своем любимом верблюде аль-Кавасе. А вот Ибрагим-бею Аллах даровал иную долю — в четвертый раз посетит он Мекку, и на этот раз уже в качестве правителя Каира. Совсем недавно мамлюки избрали кахию Ибрагима своим шайхом-ал-баладом.

Хотя на горизонте время от времени и возникали похожие на верблюжьи горбы дюны, это все еще была не великая Аравийская пустыня. Сюда еще в какой-то мере простиралась благодать кормильца-Нила, и то тут, то там на песчаной почве расстилались, как коричневые ковры, финиковые рощи. Порой по вечерам дул слабый северный ветер и доносил до путников дыхание моря:

Когда они прошли путь в три длины Нила, и к ним, как полосатые гиены, подкрались сумерки, к Ибрагим-бею подъехал кашиф Али.

— Появились разбойники, дженаб. Я насчитал четырех всадников.

Шайх-ал-балад ничего не ответил. Казалось, он дремлет в седле.

— Я видел их собственными глазами, дженаб; — помолчав, снова заговорил Али. — Двое из них вооружены ружьями.

— Ага, значит, уже учуяли нас, — отозвался наконец Ибрагим-бей. Он повернул голову к молодому человеку и ласково улыбнулся ему. — Пока это только их разведчики, сынок. Они всегда увязываются за караванами и идут следом, как голодные псы, до самого Суэца. А вот после Суэца они чувствуют себя увереннее и там, действительно, могут напасть.

Кашиф Али смутился. Ему стало неприятно, что он проявил волнение и суетливость.

Ибрагим-бей понял это.

— Али, сынок, человек вдали от дома всегда должен быть начеку, кто знает, что может прийти в голову этим голодранцам.

Вскоре впереди показался оазис. Первое, что они увидели, подъехав ближе, были необыкновенно высокие дикорастущие пальмы, горделиво развернувшие свои огромные зеленые веера на фоне вечеряющего неба. Между ними иногда попадались и низкорослые финиковые и кокосовые пальмы, тоже дикорастущие. От жмущихся к оазису, как люди, растений веяло сладо-

стным ароматом и прохладой. Измученные путники с облегчением перевели дух.

У пальм Ибрагим-бей осадил коня, и караван остановился. Усталый шайх-ал-балад тяжело спрыгнул на песок. Толпа паломников тут же загудела и, как саранча, ринулась к пальмовой роще.

* * *

Шайх-ал-балад проснулся на заре. Он поднялся со своего ложа, бережно развернул и расстелил маленький коврик, сел на него, скрестив ноги, и приступил к утреннему намазу. Долго молился Ибрагим-бей. Он верил, что праведная молитва успешнее достигает слуха великого Аллаха в ничем не нарушаемом покое раннего утра.

Кончив молиться, Ибрагим-бей легко поднялся и, откинув алый атласный занавес, вышел из шатра. Кристально чистое небо уже начинало розоветь на востоке. Бей не спеша прошел по уставленной самыми разными шатрами пальмовой роще. Вокруг не было ни души, но он не сомневался, что за каждым его шагом следят зоркие глаза десятков его верных мамлюков.

Ибрагим-бей свернул в глубину оазиса. Пройдя еще немного, он вдруг остановился и прислушался. Утренний пассат донес до его слуха звуки печальной песни. Ибрагим-бей посмотрел в сторону невысокого песчаного холма и увидел на его вершине своего юного раба Хасана. Босой, с непокрытой головой стоял тот лицом к восходящему солнцу и, воздев к небу руки, во всю силу своего звонкого, еще мальчишеского голоса пел любимую песню мамлюков:

Я пришел в пустыню оттуда...
Пришел из страны высоких гор
И гремящих рек.
То наша страна, и имя ей Грузия.
Неужели мне суждено
Уйти из юдоли страданий,
Так и не увидев ее...

Ибрагим-бей прислонился могучим плечом к шершавому стволу пальмы. Лицо его сделалось скорбным. Он закрыл его обеими руками, но сквозь неплотно сжа-

тые пальцы продолжал наблюдать за Хасаном. А тот все пел, пел самозабвенно. Его песня становилась все более страстной и горестной, она безжалостно жгла сердце, и, казалось, вот-вот весь оазис вспыхнет от ее огня.

О, страна моя, я — твой сын,
Не хочу умереть, ни разу не поцеловав
Твою землю, родную и теплую!..
Боже, помоги мне!

Хасан умолк.

Ибрагим-бей услышал, как за его спиной заскрипел песок. Кто-то шел к нему, но он не оглянулся. Пришедший молча стал рядом. Только некоторое время спустя шайх-ал-балад отнял руки от лица и, по-прежнему не оглядываясь, заговорил:

— Никто не знает, Али, из чьей души впервые вырвалась эта песнь скорби. Говорят, ее принесли с собой еще те грузины, которых пригнали в Египет во времена султана Салах-ад-Дина. С той поры поет ее только тот, кто признан лучшим певцом среди мамлюков. Другим петь ее запрещается. — Ибрагим-бей помолчал. — А ты когда-нибудь пел эту песню, Али?

— Да, дженаб, я пел ее дважды. Теперь лучше всех ее поет Хасан.

— Я тоже пел эту песню, — голос Ибрагим-бея дрогнул. — Как же это было давно, Али!..

— Когда я ее слышу, я вижу родину, — прошептал молодой кашиф.

— А свою звезду ты не видишь, Али?

— Нет, дженаб. Кроме родины, я ничего не вижу.

— А я вот вижу твою звезду, мой сын. Она ослепительна, поверь мне. Пока ее скрывает прозрачное, как кисея, облако, но очень скоро она засияет в полную силу. Я это знаю, Али!

Голос Ибрагим-бея звучал сурово, и в нем была непоколебимая вера. Затем он посмотрел на небо и приказал сворачивать лагерь.

Вечером пятого дня паломники раскинули свой лагерь под Суэцем. Перед ними простиралась голодная пустыня Синая. Оттуда, как поток горячей воды, лился зной Аравии и затруднял дыхание. Однако в редкие

минуты пассат доносил и сюда запах и пьянящую прохладу Красного моря. Ибрагим-бей в одной рубашке стоял перед своим шатром. На голове его не было высокой синей шапки шайха-ал-балада, и слабый ветерок шевелил его поредевшие седые волосы. Лицо предводителя мамлюков было сурово. Он хмуро смотрел на восток.

— Дженаб, до Мекки еще далеко? — тихо спросил кашиф Али и тоже посмотрел на восток.

Ибрагим-бей не спешил с ответом. Он продолжал внимательно всматриваться в горизонт. Наконец он повернулся к Али.

— Далекое, сынок. Мы не прошли и десятой части пути. Ты устал?

— Нет, дженаб. Я просто так спросил. А правду говорят, что меч халифа Али хранится в Мекке?

Ибрагим-бей скрестил руки на груди.

— Да, это правда. Али Четвертый был правоверным халифом. Когда умер Мухаммад, народ начал роптать — как это, мол, пророк может умереть, подобно простому смертному? Тогда к усомнившимся обратился любимый ученик Мухаммада, первый халиф Абу-Бакри: «Люди, если вы верите только в Мухаммада, чтите только его, то он действительно умер. Но если вы веруете в Бога, он жив и будет жить вечно. Мухаммад был лишь пророком Аллаха и разделил участь всех смертных, как это бывало и раньше с другими пророками». Народ успокоился и стал после этого повиноваться Абу-Бакри. После него были Умар и Усман. Четвертым халифом был благословенный Али, племянник Мухаммада и супруг его любимой дочери Фатимы. Говорят, что Фатима была очень похожа на отца, такая же терпимая и милосердная. С халифа Али начинается шиитство в исламе. Али был и великим воином. Он прославил свой меч. Вот почему каждый истинный мусульманин, если ему удастся раздобыть чистую сталь, чтобы выковать себе саблю, обязательно велит вырезать на ее лезвии: «Нет на свете воина, отважнее Али, и меча, подобного Зульфихару».

Ибрагим-бей умолк, затем, положив руку на плечо Али, заговорил снова:

— Пришла пора твоего испытания, сын мой. Пу-

стыня — страшный враг человека, самое серьезное испытание для него.

— Уже умерло два старика, дженаб.

— Если перекопать песок по дороге в Мекку, Али, и собрать скелеты паломников, погибших в пути, то получится гора до самого неба. С тех пор, как храм Каабы стал нашей святыней, жертвам на пути к нему нет числа.

Кашиф Али тоскливо заглянул в глаза патрону:

— Дженаб, почему бы нам не зайти в Суэц? Люди могли бы запастись там водой и едой...

Ибрагим-бей покачал головой:

— У паломников пока есть и еда, и вода... Вступив на путь в Мекку, следует избегать чужаков; от них можно получить только чуму или холеру... Не один караван погиб от заразы, бывало, в живых не оставалось ни единого паломника. А нам и без того забот хватит. И разбойники где-то нас подстерегают...

Ибрагим-бей откинул занавес своего шатра и скрылся за ним.

* * *

Как только они перешли из Суэца в Синай, в область Эль-Шат, на горизонте показался большой бархан, носящий имя Бир-Абу-Мухаммад. Невысокие, выжженные солнцем алебастровые и меловые горы тут были покрыты карликовыми акациями и коричневой арпой. Было невыносимо жарко. У русла пересохшей речки Ибрагим-бей приказал стать лагерем. Осматривая окрестности, кашиф Али обнаружил в скалах источник. Вода его имела неприятный резкий запах, а вдоль вытекающего из него ручья тянулась широкая полоса цвета ржавчины.

Не зная, можно ли пить воду из найденного им источника, кашиф Али нерешительно смотрел на своего патрона. Тот лукаво улыбнулся в ответ:

— Пей, пей, Али, не бойся. Эта вонючая вода — целебная, нет для желудка лучшего лекарства.

Между тем паломники уже со всех сторон обступили источник. С еще большим удовольствием пили из него верблюды.

Ибрагим-бей отошел в сторону и остановился, глядя на большой бархан. Затем он расстегнул застёжку

своего плаща и не спеша пошел к скалам. Кашиф Али и Хасан последовали за ним. Войдя в заросли карликовой акации, шайх-ал-балад проговорил, не поворачивая головы:

— Я думаю, там семь всадников, Али...

— Да, дженаб, их семеро. Они с утра идут за нами... У троих ружья.

Ибрагим-бей кивнул.

— Прикажи, и я приведу их к тебе. У нас хорошие кони. Мы легко настигнем их.

Бей прошел еще немного в глубь зарослей, затем остановился у колючего куста и только тогда повернулся к своим спутникам.

— Нечего гоняться за ними, Али. Они и сами явятся. Скоро уже явятся. Отсюда начинаются их владения.

* * *

Шайх-ал-балад в сопровождении Али, Хасана и еще пяти мамлюков в последний раз обошел лагерь и направился к своему шатру. Дул северо-восточный ветер и было довольно прохладно. Кутаясь в свои грязные лохмотья, паломники улеглись между шатрами. В небе стояла огромная полная луна. Все вокруг было залито ее ровным холодным сиянием. Справа темнело плато Эт-Тих. С тех пор, как караван вступил на землю Синая, прошло три долгих томительных дня. Ибрагим-бей знал, что теперь впереди их ждет Акаба с ее сложенными из необожженных кирпичей домишками, с пропахшими баранами улочками, с синагогой, выстроенной из желтого камня над самым заливом, и с двумя сравнительно небольшими мечетями из того же камня. Именно оттуда, от Акабы, начнется великая Саудовская Аравия, начнутся барханы Сиджазского эмирата, тянущиеся до самого Красного моря.

Ибрагим-бей никогда не засыпал сразу. И теперь, лежа в полумраке своего шатра, он долго прислушивался к доносящемуся бормотанию паломников, еще не завершивших вечерней молитвы. Наконец они умолкли, однако наступившая тишина тут же сменилась жутким воем и криками шакалов и гиен. Казалось, вокруг лагеря не пустыня, а внезапно разверзшийся ад. Стражникам пришлось немало потрудиться, чтобы отогнать

эту ночную нечисть подальше от лагеря. И вот действительно воцарилась тишина. Ибрагим-бей вздохнул, старательно укутал голову лоскутом черного атласа и повернулся на бок, лицом к стенке шатра...

Когда перевалило за полночь, чья-то рука осторожно отодвинула занавеску одного из бедных шатров, стоявших на самом краю лагеря, и из него выскользнул худой высокий человек. Он сразу же припал к земле и некоторое время лежал не шевелясь, затем, как кобра, поднял голову, огляделся, прислушался и бесшумно пополз вперед. Он миновал один шатер, второй, третий, стараясь при этом в темноте ненароком не наткнуться на валяющихся повсюду спящих паломников. В одном месте он угодил рукой в теплую лошадиную лепешку и тихо выругался. Наконец человек высмотрел нужный ему шатер и пополз к нему. Перед самым входом он снова на некоторое время припал к земле. Этот шатер тоже стоял на краю лагеря, только с другой стороны, со стороны плато. Прямо за ним, на небольшом холмике неподвижно, как и окружавшие его карликовые акации, стоял мамлюк. Убедившись, что он смотрит в другую сторону, худой человек проскользнул наконец в шатер.

— Это ты, Хафиз Али? — прозвучало из темноты.

— Я, я, Ахмед, — так же тихо отозвался вошедший.

— Осторожно, совсем рядом стражник, — шепнул тот, второй, когда Хафиз Али оказался рядом с ним.

— Знаю, из-за него я и задержался. Торчит тут, как столб, будь он неладен.

— А я уже перепугался...

— Слушай, Ахмед, у нас с тобой ничего не получится...

— Как так?! — в голосе хозяина шатра прозвучал неподдельный страх.

— У него такой повар, не приведи Аллах. Только подойди — пристрелит!

— А если предложить ему золото?

— Ты в своем уме? Если я скажу ему, что хочу отравить Ибрагима, он тут же побежит к нему, и нас обоих посадят на кол.

— А тот парень, что везет еду?

— Тот и того хуже!

— Что же нам делать? Золото-то мы взяли!

— Может удастся, когда нападут разбойники, в суматохе пустить в него отравленную стрелу.

— Ты — голова, Хафиз Али. Так мы и поступим.

— Сколько я ни думал, ничего другого не смог придумать.

— Да, другого пути у нас нет... Теперь, хоть голову мне отсеки, те деньги я никому не отдам...

* * *

Шайх-ал-балад проснулся поздно. Совершив утренний намаз, он наскоро позавтракал и приказал сворачивать лагерь. Саисы подвели ему его вороного, и он бодро вскочил в седло. Теперь путь лежал вдоль залива Акабы. Когда они въехали в пустыню, Ибрагим-бей обратился к едущему рядом с ним кашифу Али:

— Что ж, продолжим нашу беседу, сынок. После поражения в Оходском сражении среди тех арабских племен, которые восстали против Мухаммада, было и племя курешитов Бени-Мосталек. Его вождем был Аль-Харет. Пророк призвал к себе вождя газрадитов Абдаллаха-ибн-Обби, совершил с ним стремительный набег на войско Аль-Харета и в первой же схватке убил его самого. Враг бежал. Мухаммаду досталось двести пленников, пять тысяч баранов и многое другое...

Али резко поднял голову и посмотрел вперед. Там вдали, на вздыбленных, как волны, дюнах на фоне неба вырисовывалось десятка два человеческих силуэтов. То были пешие. Они стояли неподвижно и смотрели на приближающийся караван. Али перегнулся в седле к патрону и указал в их сторону. Однако Ибрагим-бей, бросив на них короткий взгляд, спокойно продолжал:

— В числе пленных была дочь Аль-Харета — Барра. Прекраснее ее в пустыне не рождалось женщины. Была она женой одного молодого араба. Когда распределяли пленников, Барра досталась Табет-ибн-Рейзе...

Али не удержался и снова посмотрел туда, где на гребне барханов по-прежнему неподвижно стояли разбойники.

— Табет-ибн-Рейза запросил за Барру огромный выкуп, и красавица решила просить Мухаммада заставить его уменьшить цену. Она предстала перед пророком и открыла ему печаль своего сердца. Пророк ог-

лядел Барру и сказал ей: «Я могу сделать для тебя больше... Будь моей женой». Она тут же согласилась, и по возвращении в Медину состоялась их свадьба...

Али снова посмотрел на горизонт. Ибрагим-бей тронул своего коня и направился к белому верблюду, но неожиданно остановился и, оглянувшись, крикнул кашифу:

— Али, справа на песке четыре мумии. Это, наверное, паломники, попавшие в самум. Только горячий ветер может так иссушить человеческое тело. Оно становится твердым, как дерево, и сохраняется очень-очень долго...

Али свернул вправо. За ним последовал и Хасан. Проскакав немного, они остановили своих коней. Перед ними лежали на песке четыре окаменевших, угольно-черных трупов. Одежда на них давно истлела. Смерть настигла этих несчастных в разных позах. Один лежал на спине. Его голова, покрытая редкими седыми волосами, спокойно покоилась на горячем песке, точно это была мягкая подушка. Вторым лежал вверх спиной и был почти уже засыпан песком. Третий свернулся калачиком, и нельзя было сразу разобрать, где его голова, а где ноги. Ноги четвертого, похожие на обугленные палки, торчали вверх по склону бархана, а голова глубоко ушла в песок.

— Али! — раздался громкий зов Ибрагим-бея.

Кашиф поспешно повернул коня и подъехал к патрону.

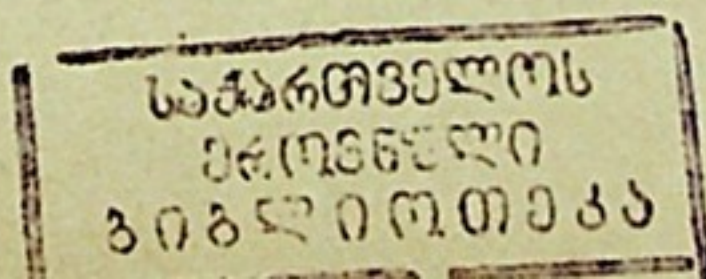
— Скоро мы подойдем к Эль-Хемеиду. Там и станем лагерем. Думаю, что этой ночью нам предстоит обнажить сабли.

Ибрагим-бей посмотрел в сторону барханов.

— Я понимаю, дженаб, — проговорил кашиф Али и опустил голову.

Чем больше они углублялись в мир пустыни и барханов, тем труднее становилось дышать. Когда наконец кончился и этот длинный день, и караван остановился, усталый шайх-ал-балад обошел лагерь, а затем обратился к своему кашифу:

— Напасть на нас они пока не решаются. Мне необходимо поспать, Али. Проследи, чтобы выставили усиленный караул.



Он вошел в свой шатер, однако ему не суждено было сегодня спокойно уснуть. Едва он стянул с себя пропыленный халат, перед ним с виноватым ^{видом} ~~вы-~~рос Хасан.

— Дженаб, — сказал он с поклоном, — тут какой-то старик-паломник просится к тебе.

Ибрагим-бей, не скрывая недовольства, покосился на молодого мамлюка:

— Лучшего времени он не мог найти для визита?

— Я пытался спровадить его, но он не отстает, говорит, что у него срочное дело.

Ибрагим-бей скрестил руки на груди и обреченно проворчал:

— Раз так, веди его сюда.

Хасан вышел. Шайх-ал-балад снова надел халат и тяжело опустился на подушки. В шатер вслед за молодым мамлюком вошел худой сгорбленный старик. Его костистое лицо туго обтягивала сухая кожа цвета спелой дыни. Он еле держался на ногах.

— Я слушаю тебя, старик. Ты что-то хотел мне сообщить?

Гость не спешил. Он поднял на Ибрагим-бея печальные слезящиеся глаза, пристально посмотрел на него и недовольно покосился на Хасана.

Шайх-ал-балад нахмурился.

— Этот юноша — мой воспитанник.

Старик продолжал упрямо молчать.

Ибрагим-бей уже начал терять терпение, однако чутье подсказывало ему, что этот человек намерен сообщить ему нечто важное, и он сделал Хасану знак удалиться. Тот покорно склонил голову, откинул занавес и скрылся за ним.

Старик по-прежнему не спешил. Он тщательно оправил занавес, затем подошел поближе.

— Мое имя Сулейман. Тебя хотят убить, дженаб. Среди хаджей двое наемных убийц.

Ибрагим-бей жестом предложил старику сесть, потом медленно извлек из кармана халата четки. Перебирая их крупные янтарные зерна, он некоторое время пристально смотрел в лицо собеседника.

— Итак, — процедил он наконец сквозь зубы, — ты говоришь, что меня хотят убить.

— Да, дженаб! — старик удобнее устроился на по-

душке и продолжал. — Они говорили тихо, чуть слышно, но слух пока не изменил мне, и я слышал весь их разговор. Во время схватки с разбойниками они собираются пустить в тебя отравленную стрелу.

— Ты запомнил их шатер?

— Конечно, дженаб.

— Я пошлю с тобой верных людей. Ты им покажешь шатер. Не бойся, я никому не позволю тронуть тебя и пальцем. С этой минуты ты под моим покровительством.

Старик усмехнулся.

— Если бы я боялся смерти, я не пришел бы сюда, дженаб.

Ибрагим-бей пошарил в стоящем за его спиной ларце, достал из него туго набитый кошелек и бросил его старому паломнику.

— Бери! Он твой!

Ни один мускул не дрогнул на лице старика. Он продолжал неподвижно сидеть, упорно глядя в лицо шайха-ал-балада. Наконец он развел руками и холодно проговорил:

— Дженаб, я сказал тебе все это только потому, что ты хороший человек и отважный воин... О награде я и не помышлял. Тебя называют мудрецом, и ты должен понять меня — хороший человек и отважный воин — дороже золота...

Старик с трудом поднялся и заковылял к выходу.

Ибрагим-бей вскочил как ужаленный, догнал его и резко повернул к себе лицом.

— Послушай, не тот ли ты Сулейман, который был рядом со мной в битве в Верхнем Египте?

Старик улыбнулся.

— Какое это имеет значение? Рядом с большой пальмой растет и погибает множество карликовых пальм...

— Я узнал тебя, Сулейман! Я узнал тебя! — Ибрагим-бей горячо обнял старика и прижал к своей груди его седую голову.

* * *

Вскоре в шатер шайха-ал-балада ввели Хафиза Али и Ахмеда. Одежда на обоих была изодрана в клочья. Они были с ног до головы в пыли и в грязи.

Ибрагим-бей с потемневшим от гнева лицом восседал на двух атласных подушках. Справа от него стоял кашиф Али, слева — Хасан, у входа — еще два рослых мамлюка. Приведенные пали ниц перед шайхом.

— Да хранит тебя Аллах, дженаб Ибрагим! Да покарает он всех твоих врагов! Да не иссякнет его милость к тебе! — вопил Ахмед.

Ибрагим-бей некоторое время брезгливо рассматривал распростертых у его ног паломников. Он почему-то сразу решил, что главный тут Ахмед, и долго гневно смотрел на него. Наконец он прогремел:

— Вы сами надумали убить меня, или кто-то приказал вам?

Ахмед затряс головой:

— Дженаб, тебя обманули! Кто посмеет замышлять такое? Ведь твои добрые дела цветут, как благословенная долина Нила! Вероломный человек оклеветал нас, чтобы лишить тебя верных слуг! Что ж, прикажи отрубить нам головы, если веришь в эту клевету, и мы примем эту кару, как великую милость!

Ибрагим-бей нетерпеливо перевел взгляд на Хафиза Али.

— А ты что скажешь нам?

Тот молчал. С минуту шайх-ал-балад смотрел на его согнутую спину. Потом снова обратился к Ахмеду:

— Мне точно известно, что вы оба намеревались убить меня! Известно мне и то, кто подослал вас. Лучше будет, если вы сами признаетесь во всем, не то вас ждет мучительная смерть.

— Нет, дженаб! Никто не посылал нас! Никто не замышлял тронуть и волос на твоей голове! — снова завопил Ахмед.

Терпению Ибрагим-бея пришел конец. Он сжал кулаки и, потрясая ими над головой, воскликнул:

— Я велю немедленно отрубить вам головы!

— Поверь, дженаб, невиновны мы! — простер к нему руки все тот же Ахмед.

— Позвать сюда Мурада! Пусть прихватит с собой свои шомпола! — приказал шайх-ал-балад одному из стоявших у входа мамлюков.

Двое мамлюков внесли и поставили в центре шатра большую жаровню. Опустившись на корточки, они стали раздувать в ней тлеющие угли. Когда угли раз-

торелись, один из них положил на решетку жаровни несколько блестящих длинных шомполов. Наконец появился и заспанный Мурад. Он с трудом протиснулся в шатер — роста он был не менее четырех аршин. К тому же он был непомерно толст. Гневно сверкая глазами, Ибрагим-бей обратился к нему:

— А ну-ка, покажи нам свое мастерство, Мурад!

— Сюю минуто, дженаб! Они у меня все скажут, — прорычал в ответ Мурад и двинулся было к Хафизу Али, однако шайх-ал-балад поднял руку:

— Нет! Сперва обработай другого.

Ахмед мигом оказался зажатым под мышкой великана. Голова его торчала за спиной палача, а ноги беспомощно болтались спереди. Свободной правой рукой Мурад ухватил один из шомполов, с минуту смотрел на раскаленный докрасна металл, а затем спокойно и деловито приложил его к груди Ахмеда. При этом лицо у него было такое, точно он помогает своими действиями больному избавиться от тяжелого недуга.

Раздалось шипение, и запахло горелым мясом. Ахмед завопил. Завопил один раз, второй, третий...

— Что ж, может быть, ты теперь поведаешь нам правду? — прозвучал гневный голос Ибрагим-бея.

— Невиновен я, дженаб!

Мурад за волосы поднял голову Ахмеда и проревел ему в самое ухо:

— Ничего, сейчас ты нам все споешь!

Он бросил его на пол вниз лицом, разодрал на его спине остатки одежды, удобно уселся на него верхом так, что острые торчащие лопатки его жертвы оказались перед ним. Затем он взял с жаровни другой шомпол и все так же не спеша и деловито коснулся им шеи Ахмеда. Снова раздалось шипение, и запахло паленым. Ахмед взвыл еще громче и задергал ногами. Палач провел шомполом вдоль его позвоночника. Вой Ахмеда перешел в хрип, и ноги неподвижно застыли на ковре.

— И теперь будешь молчать? — холодно спросил Ибрагим-бей.

Мурад лениво, кряхтя, поднялся на ноги, положил шомпол на жаровню, утер пот со лба и сказал с коротким смешком:

— Издох пес! — и презрительно добавил: — Был бы человеком, мужчиной, выдержал бы...

Ибрагим-бей сделал знак, и стоящие у входа мамлюки за ноги выволокли мертвого Ахмеда из шатра. А Мурад неторопливо двинулся к Хафизу Али. Бледный, сжавшийся, как пружина, тот ждал этого и мигом отскочил к стенке.

— Дженаб, я все скажу, все скажу! Только вели унести эту жаровню!

— Так, значит, скажешь?

— Да, да! Клянусь Аллахом!

Мурад между тем в нерешительности стоял посреди шатра. Он то и дело утирал пот со лба то правой, то левой ручищей, громко сопел и бессмысленно ухмылялся. Ибрагим-бей махнул рукой, однако великан не понял его знака и продолжал стоять на месте, вытирашив глаза. Зато мамлюки прекрасно поняли, чего желает их шайх-ал-балад, и быстро вынесли из шатра жаровню и шомпола. Вслед за ними, неловко поводя могучими плечами и не зная, куда девать свои ручищи, протиснулся в выход и Мурад.

Ибрагим-бей приказал раздвинуть занавес и только тогда, когда воздух в шатре полностью очистился, велел задернуть его. Затем он посмотрел на Хафиза Али, который по-прежнему стоял перед ним на коленях.

— Дженаб, — начал тот едва слышно, — убить тебя нам приказал Хуссейн-бей-аль-кашиф.

Ибрагим-бей улыбнулся и удовлетворенно кивнул:

— Я знал и это, — проговорил он спокойно.

Некоторое время он смотрел на ковер, затем снова взглянул на испуганного хаджи.

— Чем ты можешь это доказать?

Тот сунул дрожащую руку за пазуху, извлек оттуда четыре потертых кошелька и бросил их к ногам шайха-ал-балада.

— Это золото. Сам Хуссейн-бей дал его нам.

— А что сделал со своей долей твой товарищ?

— Товарищ... Будь он проклят! Когда он ставил шатер, всегда зарывал золото в землю. И мне советовал так поступать, но я не слушался его, не верил ему. Это он погубил меня. Какой из меня убийца?! — Хафиз Али поднял на Ибрагима затравленный взгляд. —

Ахмед был братом моей жены. Жена тоже приставала ко мне, уговаривала...

— Знаешь, что я тебе скажу? — проговорил задумчиво Ибрагим-бей, лицо его смягчилось и просветлело. — Мне кажется, ты не совсем пропащий человек. Я дарю тебе жизнь. У оазиса мы встретимся с мирными бедуинами. Я оставляю тебя у них. Домой не спеши — Хуссейн отрубит тебе голову.

Шайх-ал-балад медленно извлек из ножен саблю, брезгливо поддел ее концом валяющиеся на ковре кошельки и протянул их Хафизу Али.

— Бери! Нам ни к чему деньги грязного человека. Смотри только, чтобы бедуины не пронюхали про твое сокровище. Не то, головы тебе все равно не сносить. Ты понял меня?

Ибрагим-бей махнул рукой и встал. Он устало повернулся к Али. Верный кашиф стоял, весь напрягшись. Его широко открытые умные глаза были устремлены на патрона. Ибрагим-бей оглядел его, точно видел впервые, и, ничего не сказав, отвернулся.

* * *

Кашиф Али натянул поводья и перегнулся в седле к едущему рядом шайху-ал-баладу.

— Они уже совсем близко, дженаб. Наверное, скоро пойдут в наступление.

Ибрагим-бей тоже остановил коня и посмотрел в сторону барханов.

— Скоро уже покажется Эль-Хемеид. Дойдем до него. Пока они будут держаться в отдалении.

Однако Али не успокаивался.

— Их уже человек двадцать.

Шайх-ал-балад засмеялся.

— У них, в лучшем случае, ружей шесть-семь, не больше. Остальные вооружены пиками и дубинками.

Али умолк и, пока они не подошли к пальмовой рощице, не проронил ни слова.

— Теперь мы на месте, дженаб?

Ибрагим-бей кивнул.

Солнце уже склонялось к Суэцкому заливу. Его длинные и широкие лучи, как пряди золотых волос, ниспадали на мутные волны Красного моря. Вот-вот должны были спуститься сумерки, и раскаленные за

день окрестности замерли в ожидании долгожданной прохлады.

Шайх-ал-балад отдал приказ раскинуть лагерь, сам же, не спешившись, с десятком мамлюков остановился перед рощей, глядя на ближние барханы. Он не сомневался, что разбойники с минуты на минуту ринутся вниз по их склонам.

— Али, — наконец обратился он к кашифу, — второй их отряд, наверняка, идет к роще. Ты встретишь его. Хасан пойдет на барханы.

— Так я пошел, дженаб.

— Возьми с собой пятнадцать человек. Ты не спеши, они сами явятся.

— Хорошо, дженаб.

Али пришпорил коня и ускакал.

Теперь шайх-ал-балад повернулся к Хасану.

— Ты тоже возьми пятнадцать воинов. Пока они не спустятся с барханов и не пойдут в атаку, не стреляйте. Если же они с перепугу побегут, не преследуйте их. Пусть себе уходят. И чтобы никто не стрелял им вслед.

— Я все понял, дженаб.

Ибрагим-бей положил руку на плечо юноши.

— Так ступай же!

— Я иду.

Когда и Хасан ускакал, шайх-ал-балад потребовал подзорную трубу. Сначала он посмотрел в сторону рощи. Между нею и морем стояли полуголые всадники, человек двадцать. Ружья были только у четверых из них. Отряд кашифа Али не спеша преодолел невысокие песчаные холмы и остановился на расстоянии выстрела от неприятеля. Мамлюки стояли, не вынимая своих карабинов из-под седел.

Разбойники что-то прокричали. Люди кашифа Али хранили молчание. Тогда разбойники, осмелев, подняли крик и свист. Мамлюки продолжали стоять молча. В это время со стороны барханов прозвучал выстрел и боевой клич. Ибрагим-бей тут же перевел туда свой взгляд. Разбойники стремительно неслись вниз по песчаным склонам. Хасан подпустил их совсем близко. Затем раздался залп: Тут выстрелы донеслись и со стороны пальмовой рощи. Ибрагим-бей быстро повернулся и успел заметить, как его мамлюки стремительно пере-

секли короткое расстояние, отделявшее их от разбойников, и на той же скорости ворвались в рощу.

Ибрагим-бей нахмурился. Он старался разглядеть, что происходит в пальмовых зарослях, но тщетно. Тогда он опять посмотрел в сторону барханов. Там все уже было кончено. На песке корчилось семь раненых разбойников. Остальные, потеряв коней, бежали назад к барханам.

Ибрагим-бей крикнул слуге, указывая туда:

— Немедленно доставить лекаря к раненым! И чтобы он сделал для них все возможное!

Он прищепил коня и поскакал к роще. За ним следом поскакали и семь его телохранителей. Оттуда им навстречу с громкими криками вылетели мамлюки. Шайх-ал-балад с облегчением вздохнул, однако лицо его по-прежнему оставалось хмурым. Подъехав к Али, он резко взмахнул плетью, но сдержался и тихо проговорил:

— Вы не должны были гнаться за ними. Они могли оставить засаду среди пальм. Разбойники пустыни не так наивны, как ты думаешь, — потом оглянулся на барханы и добавил: — У этих бедняг убежали кони. Прикажи саисам отогнать их к холмам. Они там их найдут. И проследи, чтобы никто из паломников не позарился на заблудившегося коня разбойников.

* * *

Маалим Ясир, как всегда, проснулся ни свет ни заря. Поднявшись со своего ложа, он сразу же окунул лицо в наполненную теплой водой миску, затем отыскал на хорошо утрамбованном земляном полу маленький потертый коврик, расстелил его и приступил к утреннему намазу. Кончив молиться, он торопливо сунул руки в рукава выцветшего широкого халата, на ходу, уже во дворе туго затянул пояс и деловито поглядел на небо.

Небо над Меккой, как всегда в этот ранний час, было блекло-серым, и только в стороне Тайфы бледный туман был тронут алым свечением. Вот-вот должно было показаться солнце. Дул сухой пассат и нес с собой жар пустыни Руб-эль-Хал. Во дворе стоял запах спелых фиников. Сквозь редкие пальмы на невысоком холме был виден священный храм Каабы — совсем

маленькое, четырехугольное культовое строение, выстроенное из грубо обтесанных камней, с низкой кровлей и на редкость маленьким входным отверстием. Слева, на краю дороги виднелся и колодец Абузимзим. Из него с журчанием обильно текла святая вода молочно-белого цвета, текла в направлении Тайфы.

Ясир повернулся в сторону Джиды. Там раскинулась выжженная пустыня, покрытая небольшими барханами, как Красное море — волнами. Барханы эти там и сям покрывала скудная коричневая апра. Вдруг лицо маалима Ясира озарилось радостной улыбкой — вдали он разглядел пока еще нечеткие очертания множества человеческих фигур. Но вот они вышли из утреннего тумана и теперь уже были ясно видны. Ясир окончательно убедился, что это новая партия паломников. Он даже знал, кто они, эти путники, идущие со стороны пустыни. Сирийцы пришли в Мекку два дня назад и уже успели омыться в святой воде Абузимзима. Да, без сомнения, вновь прибывшими могли быть только египтяне.

Недолго думая, Ясир пустился со всех ног к амир-шарифу Мекки — Менбуу. Вскоре он был уже во дворе его дома, и, тяжело дыша, колотил кулаками в дверь.

Больше всего на свете шариф любил утренний сладкий сон. Спал он обычно так крепко, что, протащи его за заплетенные наподобие конского хвоста волосы хоть до самой Медины, он и тогда не сразу вернулся бы в этот грешный мир. Вот и сейчас, широко раскинув свои короткие толстые ножки, он вовсю храпел. По велению Аллаха, Мухаммад учил мусульман совершать утренний намаз на рассвете, во время восхода солнца, однако это нисколько не смущало Менбуу. Он был убежден, что кому-кому, а ему спешить необязательно, — ведь Кааба находилась в двух шагах от его дома, да и Медина была поблизости, так что его молитва достигнет без помех слуха Аллаха и при свете дня.

Маалим Ясир вошел в дом, поспешил в комнату, где спал хозяин, и, не церемонясь, сильно потрянул его за плечо. Не достигнув желаемого результата, он потрянул его во второй раз и в третий. Наконец амир-шариф Мекки открыл свои маленькие и влажные, как у крысы, глазки и бессмысленно уставился на Ясира.

— Газрат, египтяне пришли, египтяне! — прокричал тот.

Менбуу опустил свои похожие на мутаки ноги на мягкий ковер и протер глаза такими же короткими и толстыми ручками. При этом лицо у него было такое несчастное, что казалось, он вот-вот заплачет, как обиженное дитя.

— Газрат, египтяне, египтяне! — надрывался Ясир.

Он охрип и кричал теперь уже прямо в правое ухо шарифа. Наконец сознание Менбуу как будто прояснилось и, хотя взгляд его все еще был бессмысленным, он тяжело кивнул круглой своей головой. Посидев еще некоторое время в прострации, он медленно и с великим трудом поднял свой необъятный живот, сделал два шажка, опустился, скрестив ноги, на ковер, тут же рядом со своим широким, низким ложем и приступил к утреннему намазу.

Худой и сутулый Ясир почтительно застыл на месте. Умными, печальными глазами смотрел он сверху вниз на шарифа, пытаясь разобрать хоть одно слово в его бормотании. Однако, хоть слух его и был отменным, до него ровным счетом не дошло ничего из лепета Менбуу.

Кое-как завершив утреннюю молитву, шариф снова впери́л свой мутный взор в Яси́ра и кивнул. Ясир знал, чего желает его патрон, и тут же скрылся за дверью.

Когда черный грязный раб внес в комнату на серебряном подносе жареного барашка, Ясир снова появился на пороге. Хозяин по-прежнему молча кивнул ему, и он опустился на ковер напротив него. Менбуу, кряхтя, склонился над блюдом и оторвал заднюю ногу барашка. Затем просунул руку между нежными его ребрышками и извлек запеченный в нем жирный рис. Он мигом набил им рот и энергично заработал челюстями. Вскоре на узком лбу Менбуу выступил обильный пот. Он утер его вымазанной бараньим жиром рукой, а затем вытер ее о полу халата. Ясир ел сдержанно, то и дело косясь на своего жевавшего патрона.

Так прошло довольно много времени. Наконец Менбуу глубоко, удовлетворенно вздохнул и прошепелявил:

— Пошли, что ли...

Это были его первые членораздельные слова с момента пробуждения.

— Пошли, газрат, — отозвался Ясир.

Шариф, кряхтя и отдуваясь, поднялся с ковра.

Солнце давно уже поднялось над пустыней Руб-эль-Хал и было жарко. Менбуу засеменял мелкими шажками через двор, а выйдя из него, направился прямо к Каабе. Длинный караван египетских паломников уже поднимался на невысокий холм напротив колодца Абузимзим. Впереди медленно и важно вышагивал предназначенный в жертву пророку белый верблюд. Он был такой гладкий и чистенький, точно и не прошел многодневный и тяжелый путь. Вслед за ним, на прекрасном арабском скакуне ехал шайх-ал-балад. За его плечами развевался праздничный синий плащ. На голове красовалась высокая шапка, обмотанная синим же шелком. Справа от Ибрагим-бея ехал кашиф Али, слева — Хасан. За ними — саисы и мамлюки при полном вооружении. Следом тянулись многочисленные паломники.

Глядя на толпу, высыпавшую на улицу поглазеть на зрелище, шайх-ал-балад шепнул Али:

— Смотри, впереди всех потомки первой ветви хурешитов. Сам пророк вышел из этой ветви. Ее основоположник — Хашим. Он был защитником и покровителем Каабы, великим строителем Мекки, дедом отца Мухаммада. Позади потомков Хашима — потомки Абд-Шима.. — Тут Ибрагим-бей заметил стоящего у самой Каабы Менбуу. — А вот и шариф пожаловал. Амир-шарифом Мекки всегда назначают прямого потомка пророка, а потомков у него, по воле Аллаха, множество. Самый умный из них Абдаллах. А этот Менбуу ни на что не способен, но хванткар* посадил именно его на эту должность и заставляет плясать под свою дудку.

Шайх-ал-балад распрямылся в седле и с благоговением оглядел Каабу. Между тем два саиса вышли вперед, взяли под уздцы белого верблюда и повели его в предназначенное для него стойло. Ибрагим-бей соскочил с коня. Двое других саисов поспешили принять от него поводья, и он вошел во двор святой молельни. Приблизившись к Менбуу, Ибрагим-бей почтительно склонился перед ним. Распрямывшись, он некоторое время смотрел в его заплывшее жиром лицо, а затем огляделся по сторонам. В поле его зрения попал маа-

* Хванткар — синоним слова султан.

лим Ясир. Шайх-ал-балад едва заметно кивнул ему и двинулся к храму. Теперь он шел медленно, чуть ссутулившись. Обход святыни он начал с ее восточной стены. Подойдя к замурованному в стене святому черному камню, он наклонился и коснулся его губами. Следом за ним, во всем ему подражая, шли Али и Хасан.

Семь раз обойдя Каабу, шайх-ал-балад Каира и его свита подошли к ее маленькому входу. Ибрагим-бей, нагнувшись, вошел в святилище. Распрямившись, он чуть ли не уперся головой в его потолок. У восточной стены Менбуу уже творил молитву. Несмотря на то, что в храме царила полнейшая тишина, ни один смертный не смог бы разобрать ни слова в его бормотании.

Выйдя из святилища, Ибрагим-бей украдкой оглядел заполненный паломниками двор. Тут и яблоку уже негде было упасть, а хаджи все прибывали. Задние нетерпеливо напирали на передних. Над толпой стоял ни на минуту не затихающий гул голосов. Неподалеку, среди милетцев стоял растерянный Менбуу и что-то лепетал, разводя короткими ручками. Рядом с ним Ибрагим-бей заметил пашу Шамы. Правитель Сирии и Палестины стоял напыжившись. На его голове возвышалась огромная белоснежная чалма, изукрашенная золотом и бриллиантами.

Кто-то осторожно потянул шайха-ал-балада за плащ. Оглянувшись, он увидел маалима Ясира.

— Дженаб, Менбуу и я были очень рады, узнав, что тебя избрали на столь высокий пост.

Предводитель мамлюков улыбнулся в ответ и милостиво кивнул.

— И я рад, газрат Ясир, что снова вижу тебя живым и здоровым.

— Благодарю тебя, дженаб, за добрые слова. Позволь пригласить тебя на чай. Я буду ждать тебя попозже вечером.

Ибрагим-бей снова кивнул.

— А сейчас я, с твоего разрешения, представляю тебе человека, который проводит тебя в приготовленное для тебя жилище. Твоих людей мы тоже разместим. А завтра утром все вместе отправимся в Медину.



Когда совсем стемнело и грязные улочки Мекки опустели, Ибрагим-бей надел простой коричневый халат и знаком велел Али следовать за собой. Они тихо вышли из маленького одноэтажного дома, куда их поселили люди шарифа, и быстро пересекли двор. Кашиф Али отстал от Ибрагим-бея, чтобы предупредить телохранителей, что они уходят и скоро вернутся. Догнал он его у источника Абузимзим, где он стоял, обратив лицо к Каабе. Неподалеку трое обнаженных паломников лежали в святой воде, погружившись в нее по самое горло. Их головы торчали над ее поверхностью, как арбузы в пустом огороде. Тут же находились еще два паломника: один из них, стоя на коленях, жадно пил воду, черпая ее горстями, второй же наполнял ею свой бурдюк.

Когда Али подошел, Ибрагим-бей не шевельнулся, продолжая не отрываясь смотреть на Каабу, затем, медленно повернувшись к юноше, тихо заговорил:

— Вначале была только Кааба. Мекки тогда еще не было. Храм был полон разных идолов, и арабы поклонялись им. Потом явился Мухаммад. Он начал проповедовать единого Бога. Все идолы были выдворены из Каабы и разбиты на глазах веровавших в них. С тех пор народ уверовал только в Аллаха и Мухаммада, пророка его...

Ибрагим-бей посмотрел в сторону источника.

— А эту святую воду обнаружил еще Исмаил. Рабыня-египтянка Агарь родила его от основателя рода евреев — Авраама. Когда же жена Авраама Сарра, будучи долгое время бездетной, наконец родила сына, Агарь, по ее приказанию, была изгнана. Она с младенцем Исмаилом на руках отправилась в Мекку, где и поселилась. С той поры берет начало в Мекке род агарян. Однажды Агарь оставила сына в каменистой местности, а сама пошла по своим делам. Когда мать скрылась с глаз, маленький Исмаил сердито затопал ножками, и тотчас в этом месте из горячего песка забил источник. Каждый истинный правоверный мусульманин обязан перед праздником Байрам омыться в его святой воде.

Ибрагим-бей еще раз взглянул на Каабу и зашагал по тропе, огибающей холм.

Ясир встретил гостей во дворе. Увидев, что шайх-ал-балад не один, он пристально посмотрел на него и спросил по-грузински:

34135340
3034110133

— Он наш или черкес?

— Это мой кашиф. Он грузин.

— Да-а... — протянул Ясир и пошел впереди гостей к дому. — Я такой чай заварил для тебя, дженаб, какого ты у себя в Каире не отведаешь. Сюда приходил один индус. Он мне его и подарил. Цейлонский чай! Настоящий цейлонский чай!

— О, я уже чувствую его аромат, — проговорил Ибрагим-бей, входя за хозяином в узкую дверь.

В маленьком каменном доме маалима Ясира было всего две комнаты. Гости он, как правило, принимал в первой из них, во вторую же никогда никого не приглашал. Таким образом, первая комната служила ему и гостиной, и спальней. Тут же он и ел. Сейчас в ней под единственным узким окном был расстелен на земляном полу большой ковер. В четырех углах его лежали плоские подушки, обтянутые выцветшим ситцем. Ковер сверху был освещен светильником, стоящим в небольшой стенной нише. В глубине комнаты виднелись сундук и две деревянные низкие тахты. Обе они были покрыты пестрыми ковриками. На каждой тахте лежало по мутаке.

Шайх-ал-балад скинул у порога утепленные сапоги и прошел к окну. Али следовал за ним.

— Прошу садиться, — пригласил Ясир, беря с жаровни большой фарфоровый чайник.

Ибрагим-бей опустился на ковер там же у окна. Али устроился рядом. Ясир же опустился на колени и начал разливать по пиалам дымящийся чай.

— Замечательный чай. Давно не пил такого чая, — приговаривал он.

Ибрагим-бей осторожно взял свою пиалу и медленно отпил несколько глотков.

— Действительно, газрат, чай выше всякой похвалы.

Ясир просиял и, довольный, заулыбался.

— Замечательный чай, — повторил он. — Да благословит Аллах того индуса. Он ночевал тут у меня. — Хозяин указал на одну из тахт. Потом снова посмотрел на гостя блестящими от удовольствия глазами. — Ес-

ли бы ты только знал, как я обрадовался, когда узнал, что ты стал шайхом-ал-баладом!

— Не сомневаюсь, мой Ясир, — Ибрагим-бей осторожно поставил пиалу на ковер и серьезно посмотрел на хозяина дома. — Что нового ты поведаешь нам, брат Ясир? Что слышно в святой Мекке?

Маалим Ясир откашлялся.

— Недавно тут был один паломник, аварец. Тоже ночевал у меня. Так вот, он рассказывает...

На лице Ибрагим-бея отразилось сильное волнение, и он, не скрывая своего нетерпения, спросил взявшегося было за свою пиалу хозяина:

— Ну, что же он рассказал тебе?

И тот, поняв его состояние, поставил пиалу обратно на ковер.

— Лезгины, говорит, вошли в сговор с Азат-ханом, осмелели и стали совершать набеги на Картли и Кахетию. Однако грузины дали им достойный отпор. Войска Эрекле-хана* преследовали их до самого Чар-Белакана и там задали им жару. Аварец говорит, что сейчас Эрекле-хан силен, как никогда; у него большое войско, и он наводит ужас на Иранские ханства. Ереванское, Нахичеванское и Карабахское уже подчинились ему. Покорилась ему и Ганджа.

Ибрагим-бей машинально допил свой чай, не сводя с Ясира горящих глаз.

— Еще что говорил твой аварец? — нетерпеливо воскликнул он опять.

— Персам, говорит, сейчас не до Эрекле. Они и в своем доме никак не могут разобраться. Кто с кем там у них воюет, не понятно. После убийства Надир-шаха не перестают грызться между собой. Сначала верх взял сын сестры Надира Кули-хан. Тогда Али-шах решил раз и навсегда избавиться от всех наследников Надир-шаха. Он послал своего полководца — грузина Зураб-хана — захватить крепость Келат, в которой они укрылись. Зураб-хан взял крепость приступом и доставил пленников шаху. Оказывается, в женах у Али-шаха — дочь царя Теймураза. Начальник его телохранителей — тоже грузин, из рода Амилахвари. Он, оказывается, всегда был добр к нашим. Но очень скоро все

* Имеется в виду царь Грузии Эрекле.

изменилось — родной брат Али-шаха Ибрагим свернул ему шею. Теперь в борьбу за власть ввязались и каджары. Вот-вот ввяжутся курды и афганцы. Говорят, что пока сильнее других курд Керим-хан, но Азат-хан он афганец, хотя и в лагере каджаров — тоже не уступает ему. Этот Азат-хан воюет на два фронта — одной рукой грозит мечом Эрекле-хану, другой — готовит чашу с ядом для Керим-хана. Как видишь, дела Персии плохи. — Ясир взглянул на пустую пиалу шайха-ал-балада. — Дженаб, может налить тебе еще?

— Налей, газрат. Так вот, значит, как? Персидские ханы заняты тем, что грызутся между собой... — Ибрагим-бей взял из рук хозяина полную пиалу, — а тем временем Турция отдыхает и набирается сил...

— Паша Шамы говорил, что хванткар ввел во Влахию большое войско.

— Похоже, они готовятся к войне с Россией.

— Похоже, дженаб. Они получили подкрепление и от Сирии. А вот с палестинцами никак не могут договориться — шейх Аз-Захири держится крепко. Наседают они и на друзей, но тоже ничего пока не добились.

Нервное напряжение отпустило Ибрагим-бея. Уже со спокойным лицом сидел он напротив хозяина, неторопливо попивая чай. Когда тот умолк, он спросил, улыбаясь:

— Что еще?

— Больше ничего нового мне не известно, дженаб, — ответил Ясир, однако после короткого молчания покосился в сторону окна и тихо добавил: — Если до меня дойдет что-нибудь важное, я напишу. Верный человек доставит тебе в Каир мое письмо.

Ибрагим-бей кивнул. В комнате воцарилась тишина. Подумав, Ясир налил себе еще чаю. Он хотел было налить и Ибрагим-бею, но тот замахал на него руками:

— Нет, нет, газрат, я и так слишком много выпил!

Потом он покосился на Али и обратился к хозяину:

— У меня к тебе есть одна просьба, но я не решаюсь...

Ясир оразу помрачнел, и лицо его вытянулось.

— Ну что ты, дженаб... Я слушаю тебя.

— Газрат Ясир, этот юноша — мой воспитанник.

Я люблю его, как сына, и возлагаю на него большие надежды.

Хозяин внимательно посмотрел на Али. Тот смущенно кашлянул. А Ибрагим-бей продолжал:

— Я не хотел бы, чтобы он покинул Мекку, не увидев твоих книг.

Воцарилось неловкое молчание. Хозяин застыл в напряженной позе, опустив голову и глядя на узор ковра.

— Ну, что скажешь? — как-то даже робко спросил наконец шайх-ал-балад.

— Дженаб, ты ведь знаешь...

— Знаю, знаю, брат Ясир, но Али должен увидеть твои книги, не то великий грех будет и на тебе и на мне.

Маалим Ясир неохотно поднялся, подошел к крепкой деревянной двери, ведущей в другую комнату, и отпер ее. Ибрагим-бей и Али уже были рядом. За дверью была полная темнота. Хозяин долго молча стоял на пороге, потом повернулся, подошел к нише в противоположной стене и взял стоящий в ней светильник.

Когда они вошли во вторую комнату, первое, что увидел Али, были длинные столы, расположенные вдоль ее стен. На столах этих лежало много больших, толстых книг. На полу был расстелен ковер. Книги лежали и на нем.

Ясир прошел в середину комнаты, где с потолка свисала толстая медная цепь, на конце которой был укреплен медный же поднос. Ясир поставил на поднос светильник и оглянулся на гостей.

— Прошу... — он взял со стола одну из книг, бережно обтер с нее пыль и посмотрел на Али. Лицо его больше не было хмурым. Его освещала счастливая улыбка. Он весь преобразился.

— Подойди поближе, сын мой.

Али робко подошел к хозяину, и тот оживленно заговорил:

— Эту книгу написал визирь Низами-аль-Мульк в XI веке. Называется она «Сиасет Наме». Низами всю жизнь боролся с противниками ислама. Халиф Али ведь учил: «Если ты встретишь людей, именующих себя рафизитами, то убей их, так как они отреклись от ислама».

Ясир прошел вдоль стола, глядя на книги, взял одну и снова заговорил:

— Это — стихи Аль-Мутанаба. Он жил в середине X века. Скончался в триста пятьдесят первом году по хиджре. А восемь лет спустя родился великий мудрец Абу-ль-Аля Аль-Маари, — продолжал Ясир, беря в руки следующую книгу. — Это его стихи и поучения «Аль-лузумнат». Он не верил в пришествие нового мессии Махди.

— Газрат, — робко заговорил Али, — ведь и сам Мухаммад говорил, что он — последний пророк, и после него другого уже не будет.

Ясир посмотрел на молодого человека и ласково улыбнулся ему.

— Все, сын мой, решается на небесах. Когда Мухаммад говорил это, он стоял на земле. А это вот «Хадисы», шесть сборников священных откровений. Выше всех из них по мудрости «Ас-Сахихи». Ну, а это книга Абу-Джафара-Мухаммеда «Аль-Кафи».

Так маалим Ясир дошел до угла комнаты. Там он взял со стола фолиант в кожаном переплете и повернулся к Ибрагим-бею.

— Дженаб, это — Коран. Я сам переписал его для тебя.

Ибрагим-бей принял подарок, склонив голову.

— Ты доставил мне очень большую радость, брат Ясир.

Ясир улыбнулся:

— Дарю от всего сердца, дженаб. Другой экземпляр я подарил Абдуллаху, двоюродному брату шарифа.

Шайх-ал-балад бережно перелистал книгу.

— Ты прекрасно переписал ее, газрат.

Ясир еще раз улыбнулся и любовно оглядел заваленные книгами столы...

* * *

...На улице Али нагнал шайха-ал-балада и пошел рядом с ним.

— Дженаб, кто этот мудрый, ученый человек? — спросил он после некоторого молчания.

— Ясир — мамлюк, но война не его дело. Когда-то, в твоём возрасте он последовал за тогдашним шайхом-ал-баладом в Мекку и уже не вернулся в Египет.

Сейчас он — правая рука этого бездарного шарифа Менбуу, его секретарь.

УДК 347.5
ББК 82.01.01.01.01.01

* * *

На следующий день Менбуу вновь совершил свой сабах-намаз, когда солнце давно уже поднялось над пустыней. Толпа паломников между тем с нетерпением ждала его появления, — ведь им предстоял немалый путь до Медины, и они рассчитывали выйти из Мекки на рассвете.

Некоторое время паша Дамаска, не желая нарушать приличий, молча ждал со всеми остальными, но утренний сон амира слишком уж затянулся, и паломники начали выражать свое неудовольствие. Терпение паши тоже лопнуло. Он отыскал в толпе милетцев Ясира и поманил его к себе. Едва тот подошел, паша бесцеремонно ткнул пальцем в сторону дома Менбуу и во всеуслышание прорычал:

— Немедленно разбуди его. Какое время спать, когда столько народу ждет его!

— Дженаб, он нездоров и пока не может выйти, — неуверенно промямлил Ясир.

Лицо властелина Шамы побагровело, он затряс сжатыми кулаками над головой и так рявкнул, что не только в Мекке, но и в Медине не лишённые слуха должны были бы услышать его:

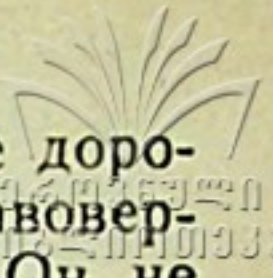
— Ничего не желаю знать! Пусть сейчас же явится сюда! Нашел время болеть!

Ясир повернулся и нехотя поплелся к дому амира. А еще через некоторое время Менбуу, пошатываясь, появился в открытых дверях и, протирая заспанные глаза, направился к паломникам.

Паша Дамаска, не произнеся больше ни слова, занял свое место за жертвенным верблюдом. За ним встал шайх-ал-балад Каира со своей свитой. С трудом взгромоздившись на верблюда, шариф Менбуу возглавил процессию, и паломники вступили на караванный путь, ведущий из Мекки в Медину.

Когда Мекка осталась позади, Ибрагим-бей повернулся к Али:

— Это святой путь нашего пророка. Гонимый жителями Мекки, он преодолел пустыню, явился в Медину и стал там проповедовать ислам. Мединцы увидели в



нем своего брата и приняли его учение. Этой же дорогой, уже грозный, во главе огромного войска правоверных Мухаммад вернулся и взял Мекку силой. Он не стал мстить, простил ее жителям все обиды и обратил их в ислам.

Али внимательно слушал, а потом с волнением спросил:

— А меч халифа Али мы так и не увидим, дженаб?

— Согласно обычаю, он хранится у амира Мекки. Менбуу редко показывает его народу. Но ты не огорчайся. Наступит время, и ты снова придешь в Мекку, мой мальчик, и увидишь меч Али.

Шайх-ал-балад умолк и, пока не появились впереди очертания Джиды, не проронил больше ни слова. Завидев силуэт огромной джидской мечети, он тихо проговорил:

— А вот и Джида — морские врата Мекки.

Отсюда караванный путь шел вдоль Красного моря. Только на следующий день, после остановки на обед, паломники свернули в пустыню и двинулись в сторону Ассирийских гор.

Неожиданно Менбуу остановил своего верблюда, с превеликим трудом спустился на землю и, кряхтя, распростерся ниц на горячем песке. Все последовали его примеру и начали истово молиться.

Когда шайх-ал-балад снова сел на своего коня, к нему подъехал Али.

— Дженаб, почему мы здесь молились?

Ибрагим-бей выпрямился в седле.

— Запомни, это место называется Абвея. Однажды мать Мухаммада Аминэ, оставив маленького сына, отправилась в Медину навестить родичей. Возвращаясь домой, она умерла на этом месте. Тут ее и похоронили. Мухаммад часто навещал могилу своей матери.

Наконец в горячем мареве пустыни, как мираж, возникла Медина. При виде ее минаретов усталые паломники прибавили шагу. С криками они влились в грязную улицу и направились к невысокому холму. На вершине этого холма четыре небольших, похожих на пирамиды минарета создавали маленький квадрат. Паломники расположились вокруг, а Менбуу взошел на возвышенность и стал там рядом с белым верблюдом.

— Мы уже пришли, дженаб? — шепотом спросил Али Ибрагим-бея.

Тот кивнул.

— На месте этого зеленого забора стоял шатер самой любимой жены Мухаммада — Айше. В нем наш пророк умер и в нем же, по его собственному желанию, был погребен. Потом шатер убрали. Рядом с пророком похоронены первый правоверный халиф Абу-Бакри и халиф Умар. Минареты и ограда построены позже.

Между тем Менбуу приближался к могиле Мухаммада. За ним следовали представители рода Хашима. С другой стороны каирцы подвели белого верблюда. Шариф Мекки пал ниц и начал молиться. Его примеру последовали все остальные. Голоса Менбуу не было слышно, зато вопли паломников огласили окрестность.

Наконец шариф завершил молитву и встал. Возцарилась мертвая тишина. Он приказал снять со спины верблюда махмалу. Четверо могучих мамлюков бережно опустили на землю тяжелый серебряный ларь. Двое других откинули его высокую крышку.

Менбуу не спеша оглядел махмалу и приступил к следующей молитве. Завершив ее, он распорядился увести верблюда, и саисы отвели жертвенное животное к могиле пророка. В двадцати шагах от нее, рядом с огромной жаровней, на которой стояли большие котлы, они повалили его на землю и мигом перерезали ему горло кинжалами.

Пока священный верблюд выпускал дух, Менбуу медленно и степенно стянул с могилы Мухаммада доставленный сюда в прошлом году и успевший выгореть на солнце ковер и разрезал его на три части. Затем он аккуратно сложил одну из них и милостиво взглянул на пашу Шамы. Тот сделал несколько шагов и оказался рядом с ним. Менбуу торжественно вручил паше бесценный дар, который ему предстояло доставить в Стамбул самому хванткару вместе с заранее подготовленным слащавым посланием амира Мекки.

Менбуу так же аккуратно сложил и вторую часть разрезанного ковра. Теперь его милостивый взор обратился на шайха-ал-балада Каира. Ибрагим-бей подошел с вытянутыми вперед руками. Одарив и его, Менбуу, кряхтя и отдуваясь, начал резать на маленькие кусочки оставшуюся третью часть ковра с могилы проро-

ка. Покончив с этим делом, он роздал лоскуты наиболее уважаемым жителям Мекки.

Тем временем над котлами, стоящими на жаровне, за клубился пар. В них варилось мясо жертвенного верблюда. Совершая очередную молитву, Менбуу то и дело косился в их сторону. Затем он подошел к махмале, извлек из нее доставленный каирцами великолепный бархатный ковер, ловко взмахнул им в воздухе, расстелил его на могиле пророка, бережно расправил загнувшиеся края и снова забормотал молитву. В это время расторопные юноши поднесли ему огромный медный поднос, на котором возвышалась целая гора вареной верблюжатины. Над ним стояло облако ароматного пара.

Менбуу взял с подноса большой кусок мяса и протянул его паше. Второй кусок он передал шайху-ал-баладу, а затем начал раздавать мясо паломникам. Поначалу те терпеливо дожидались своей очереди, но постепенно волнение стало нарастать — уж очень всем хотелось поскорее вкусить священного мяса, и толпа зашумела, забурлила, задние ряды начали напирать на передние. Еще немного, и разъяренные паломники затоптали бы незадачливого амира, однако ему на помощь поспешили воины пашы. Взявшись за руки, они решительно оттеснили толпу. Бледный Менбуу утер рукавом со лба выступивший на нем холодный пот и снова протянул руку к подносу.

Ибрагим-бей и Али не без труда выбрались из толпы. Шайх-ал-балад отдал приказ поставить его шатер на другой стороне дороги, в тени финиковых пальм.

Когда его воля была выполнена, он вошел в шатер, с облегчением вздохнул и сказал кашифу Али:

— Что ж, мы свое дело сделали. Распорядись, чтобы предупредили всех каирцев, что на рассвете мы тронемся в обратный путь.

* * *

Впереди, на фоне оазиса Ахмедие шайх-ал-балад разглядел в подзорную трубу группу людей и, довольный, прищипорил коня. Вслед за ним заспешили и измученные, покрытые горячей пылью паломники. Их ряды заметно поредели. Путь от Каира до Мекки стал последним для многих стариков. Оказался он послед-

ним и для некоторых молодых. Те же, кому посчастливилось выжить, умиротворенные и очистившиеся возвращались домой.

Когда процессия эмира Хаджи подошла к оазису, Ибрагим-бей в числе ожидающих их людей с радостью узнал своего каймакама* Ридван-бея. Тот во главе остальных мамлюк-бегов медленно ехал ему навстречу. Когда они сблизились, Ридван-бей спешился. Ибрагим-бей тоже легко соскочил с коня.

Бей крепко обнялись.

— Я счастлив видеть тебя живым и здоровым, Ибрагим, — проговорил сияющий Ридван. — Мне очень не доставало тебя все это время.

— Я тоже соскучился по тебе, Ридван. Мне приятнее слышать твой голос, чем журчание Нила.

Ридван-бей ласково приветствовал подскакавших Али и Хасана, затем обратился к шайху-ал-баладу:

— Давай пройдемся немного. Я думаю, у тебя с дороги затекли ноги, и тебе не мешает размяться.

— Что ж, будь по-твоему. — Ибрагим-бей сорвал с запястья кожаный плетеный хлыст, бросил его стоящему рядом саису и последовал за другом. Тот, оглянувшись, сделал Али и Хасану знак следовать за ними. Когда паломники остались далеко позади, Ридван-бей остановился, подошел вплотную к шайху-ал-баладу и тихо сказал:

— Ибрагим, Хиор-Ахмед-паша предал тебя. У ворот Баб ал-Футух стоит Хуссейн-бей. Ему приказано схватить тебя.

Шайх-ал-балад медленно скрестил руки на груди. Его полные губы искривились в горькой усмешке.

— Я давно уже жду от него этого. А диван в курсе?

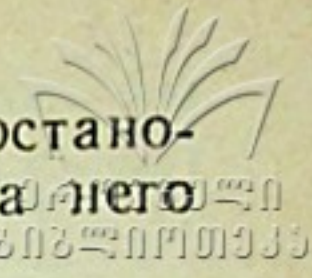
— Он не советовался с диваном. Говорят, Хуссейн-бей утвержден шайхом-ал-баладом.

— И тоже без ведома дивана?

— Разумеется... Мы должны созвать санджак-бегов, захватить пашу и отправить его к хванткару.

Ибрагим-бей снова усмехнулся. Он задумчиво посмотрел в сторону оазиса и, не проронив ни слова, зашагал к нему по затвердевшему песку. Ридван-бей молча пошел рядом с ним. Али и Хасан чуть поотстали.

* Каймакам — заместитель, помощник шайха-ал-балада.



Подойдя к карликовой акации, Ибрагим-бей остановился. Ридван-бей встал перед ним, устремив на него свой ястребиный взор.

— Мы должны спасти свои головы, Ибрагим, головы...

Ибрагим-бей продолжал молчать. Он пристально смотрел в лицо друга, но мысли его были далеко. Наконец он вздохнул, опустил скрещенные на груди руки и спросил:

— Как тебе удалось уйти из Каира?

— Через ворота Баб-эль-Насх.

— Та-ак, — протянул шайх-ал-балад. — Не знаешь, какие обвинения выдвигает против меня паша?

— Знаю. От кахи джаизаров.

— Какие же?

— Якобы на имя хванткара и в диван поступило много жалоб на тебя из Верхнего и Нижнего Египта, Будто бы он не раз говорил тебе об этом, предупреждал, а ты не обратил никакого внимания на эти предупреждения...

— Вот, значит, как! — засмеялся Ибрагим-бей.

— Мы должны захватить Хиор-Ахмеда, Ибрагим! Шайх-ал-балад упрямо мотнул головой.

— Ты немедленно вернешься в Каир, Ридван! Въедешь в город через ворота Баб-эль-Насх. Если ты появишься у ворот Баб ал-Футух, я уверен, Хуссейн-бей и тебя не оставит без внимания. Ведь после меня твоя очередь, Ридван...

— Я знаю это, дженаб.

— Так вот... возвращайся в Каир. Я же сдамся паше. На мне нет никакой вины. Сейчас, мой друг, не время бороться с хванткаром.

— А если они убьют тебя?

— Я не окажу сопротивления, и они не посмеют сделать этого. Ступай, Ридван. Сделай все так, как я сказал. Ступай! Поверь мне, что так будет лучше...

— Я всегда слушался тебя, Ибрагим, — проговорил Ридван-бей, но в голосе его не было воодушевления.

— И теперь должен послушаться.

Шайх-ал-балад оглянулся на своих кашифов:

— Али, прикажи подать Ридван-бею коня.

Потрясенный всем услышанным, Али некоторое вре-

мя стоял в растерянности. Наконец он отозвался глухим голосом:

— Сюю минуту, дженаб.

Когда Ридван-бей со своей свитой ускакал, Ибрагим-бей обратился к Хасану и Али:

— Вы все слышали?

Молодые люди молча кивнули.

— А теперь скачите в Каир и охраняйте дворец. Чтобы никто и близко не подошел к нему!

Глаза шайха-ал-балада грозно сверкнули.

— А пашу и Хуссейна я усмирю, как необъезженных кобылиц!

Он быстро вернулся к паломникам и приказал си-раджам подать ему коня.

* * *

Выбравшись из огромной толпы любопытных, собравшейся у ворот Баб ал-Футух, Хасан огрел плетью своего усталого, запыленного коня и понесся в сторону Азбакки, ко дворцу шайха-ал-балада. Он ни на минуту не сомневался, что воины Хуссейна давно уже разгромили и беломраморное здание, и прекрасный сад его патрона. Еще больше уверился он в этом, когда обнаружил среди встречающих у ворот силахдара* Ибрагим-бея — своего побратима Али. Он знал Али, как самого себя, — недаром они выросли вместе — знал его неукротимый нрав и отвагу, и в его сердце начал проникать страх, что того уже нет в живых.

Поглощенный своими тревожными мыслями он и не заметил, как домчался до высокой каменной стены, окружающей дворец. Поравнявшись с воротами, он, не останавливая коня, соскочил на землю. Умное животное, почувствовав, что хозяина уже нет в седле, замедлило бег и остановилось.

А Хасан уже барабанил кулаками в ворота из красного дерева. Угольно-черный раб Абдулла осторожно выглянул в оконце, вырубленное в стене, и, только убедившись, что нежданный гость не кто иной, как Хасан, побежал отодвигать тяжелый засов. Молодой мамлюк вихрем влетел во двор, кинулся к Абдулле, схватил его за ворот халата и закричал:

* Силахдар — придворный чин, лицо, ведающее оружием.

— Где силахдар Али? Отвечай, где силахдар?

Испуганный привратник с опаской поглядел на совершенно невменяемого Хасана и указал в сторону сада:

— Он там. У него опять лихорадка. Лежит в своей комнате.

— Здесь никого не было? — уже спокойнее спросил Хасан и отпустил его.

Абдулла отряхнулся как собака.

— Никого... Али приказал никого не впускать.

Сперва Хасан хотел было войти во дворец, но передумал и побежал в сад. Он пробежал длинную пальмовую аллею, узкий деревянный мост, перекинутый через канал, финиковую рощу и наконец оказался перед вытянутым одноэтажным строением. Тут жили имбрикчи-баши* и капуджи-баши** Ибрагим-бея, а также его силахдар Али. Измученный лихорадкой силахдар Али лежал на тонком ковре. По его бледному лицу струился пот. Когда Хасан распахнул дверь и вбежал в комнату, он с трудом приподнял голову и слабым голосом спросил:

— Ну, как дела? Что они сделали с Ибрагим-беем? Здесь был кашиф Ридван-бея. Он мне все рассказал...

Хасан склонился над другом.

— Что, опять лихорадка?

— Да, замучила проклятая. Что с шайхом-ал-балладом?

— Чауши*** отвели его в Мукатам.

— Значит, он жив?

— Жив, жив. Сейчас я поскачу к Абд Ар-Рахману, оттуда к Латип-бею. Нужно немедленно собрать всех санджак-бегов. Тебе ничего не нужно, Али?

— Ничего. Ты иди, не теряй времени зря. Может быть, еще удастся что-нибудь сделать.

— Так я пошел. А ты лежи спокойно. Я скоро вернусь.

* Имбрикчи-баши — лицо, ведающее чашей и полотенцем, необходимыми при омовении рук перед молитвой.

** Капуджи-баши — один из придворных чинов.

*** Чауш — низший воинский чин.

Хасан выбежал из комнаты силахдара. Добежав до пальмовой аллеи, он крикнул:

— Коня! Подать мне коня!

Черный Абдулла, по-прежнему не отходивший от ворот, приказал одному из стражников выполнить его приказ. Тут подбежал и сам Хасан.

— Твоего коня сейчас приведут, — сказал ему Абдулла. — А где кашиф Али?

— Он остался с Ибрагим-беем. Наверное, скоро явится.

Черный раб кивнул, затем подошел вплотную к молодому мамлюку и почти шепотом проговорил:

— Заклинаю тебя Аллахом, Хасан, скажи мне правду — ведь с хозяином ничего плохого не может случиться?

Хасан через силу улыбнулся и пожал плечами:

— Я и сам пока ничего не знаю, Абдулла. Сейчас я поскачу, соберу бегов. Посмотрим, что решит диван...

Тут послышался топот — это стражник примчал коня. Хасан вышел из ворот и нетерпеливо выхватил из его рук поводья. Прежде, чем вскочить в седло, он крикнул Абдулле:

— Покрепче запри ворота и никого не впускай! Всем вооружиться и быть наготове! — И, уже сидя в седле и с трудом сдерживая своего скакуна, добавил: — Я скоро вернусь. Вот-вот и Али будет здесь.

Хасан отпустил поводья, и конь вихрем понес его по тихой улице. Абдулла вернулся во двор, закрыл ворота и задвинул засов, затем потуже затянул пояс своих широченных бязевых шаровар и, еще раз внимательно оглядев двор, рысцой побежал к лагерю мамлюков Ибрагим-бея. Вскоре он снова появился в сопровождении отряда вооруженных карабинами воинов, отдуваясь, пересек пальмовую аллею и возвратился на свое место у ворот. Теперь Абдулла немного успокоился — он добросовестно выполнил все, что велел ему Хасан. Он не спеша подошел к оконцу в стене и высунул в него свою черную всклокоченную голову. Посмотрел направо, налево. В самом конце улицы появился всадник. Протиснувшись в оконце и свои худые плечи, Абдулла некоторое время наблюдал за ним, затем торопливо втянул голову обратно и громко закричал:

— Откройте ворота! Кашиф Али возвращается!

Два стражника тотчас бросились открывать ворота, и во двор на взмыленном коне влетел Али. Соскочив на землю, он крикнул мамлюкам:

— Запереть ворота! Никого не впускать! — затем обратился к Абдулле:

— Где Хасан?

— Он поскакал к санджак-бегам, Али. Велел передать, что скоро вернется.

Кашиф кивнул и устало сказал:

— Я буду у себя. Как только он появится, позови меня. — Он повернул было в сторону пальмовой аллеи, но вдруг остановился и издали крикнул: — А где силах-дар?

— Он нездоров. У него опять лихорадка.

Кашиф Али хотел было еще что-то сказать, но передумал, махнул рукой и продолжил свой путь. Вскоре он свернул вправо, в сторону канала, вошел в яблоневый сад и тут почти побежал по широкой ухоженной тропе. Наконец впереди показался небольшой каменный дом. Из его узкой двери вышла молодая женщина в широком синем халате. Она была без чадры. Черные выющиеся волосы свободно ниспадали на ее спину и плечи. Завидев Али, она громко вскрикнула и бросилась ему навстречу. Запутавшись в полах длинного халата, она чуть не упала, но Али подбежал к ней и успел подхватить ее на руки.

— Слава Аллаху, ты вернулся! — женщина обвила руками его шею, припала к его груди.

— Да, Айше, я вернулся. А как Зейнаб?

— Хорошо. Только скучала без тебя.

Кашиф Али нежно поцеловал жену в щеку, обнял правой рукой за тонкую талию, и они пошли к дому. В это время на пороге появилась маленькая пухленькая девочка. Она засунула пальчик в рот и стала смотреть на них. Али оставил Айше, подбежал к ней и высоко поднял над головой. Некоторое время он любовался ею на фоне вечернего неба, потом осторожно опустил и крепко прижал к груди. Наконец, справившись с охватившим его радостным волнением, бережно опустил девочку на землю и обратился к подошедшей Айше:

— Приготовь мне помыться, да побыстрее. Скоро вернется Хасан, и у меня уже не будет для этого времени.

С площади Ар-Румаил связанного по рукам шайх-ал-балада чауши ввели через ворота Баб-эль Янычария в каирскую цитадель. Он медленно шел вверх по узкой, высеченной в скале дороге к холму Мукатам. Над дорогой в просторных вольерах метались и рычали львы и тигры, рычали так громко, что заглушали все остальные звуки. Чауши молча следовали за шайхом-ал-баладом. Так же молча вошли они в зал Юсупа-Саллаха-Ад-Дина и остановились перед колодцем.

Ибрагим-бей, которому сейчас больше всего на свете хотелось пить, затуманившимся взором посмотрел на большой запотевший кувшин, стоящий у колодца, и с усилием проглотил слюну. Чауши все поняли. Один из них тотчас подошел к колодцу, взял с камня глиняную пиалу и, погрузив ее в кувшин, наполнил до краев, затем, приблизившись к пленнику, поднес пиалу к его губам. На лбу Ибрагим-бея выступил холодный пот. С трудом овладев собой, он жадно начал пить.

Чауши знали, что для человека, попавшего в цитадель Мукатама существует один путь — на эшафот. Однако они знали и то, что иногда — правда, это случалось очень редко — на эшафот отправлялся кто-то другой, а тот, кому была уготована эта участь, возвращался к кормилу власти. Поэтому-то они терпеливо ждали, пока опальный шайх-ал-балад утолял жажду, а затем, когда он зашагал в сторону мечети, по-прежнему молча последовали за ним. Ибрагим-бей медленно миновал мечеть и маленькое кладбище и, прежде чем ступить на первую ступеньку, ведущую в подземную темницу лестницы, остановился у каменной балюстрады. Отсюда весь Каир был как на ладони. Вот Аль-Азбакия, за нею — Моск, Булак. Дальше, на западе серебрится Нил. За ним — Гиза. И наконец, на самом горизонте четко вырисовываются — одна грандиознее другой — великие пирамиды...

Шайх-ал-балад медлил. Тогда к нему почтительно приблизился один из чаушей и шепотом сказал:

— Дженаб, если Хуссейн-бей пожалует сюда и увидит тебя здесь, нам всем не сносить головы.

Ибрагим-бей вступил на круто уходящую вниз, в темноту лестницу. Впереди шел чауш с факелом. Пленник мог видеть только его толстую, мокрую от пота

спину. Ловкостью этот парень, видимо, не отличался — несколько раз он поскользнулся и едва не сломал себе шею. Но вот они наконец добрались до узкого коридора. Чауш с облегчением вздохнул и поднял свой факел выше.

Коридор был довольно длинный. Справа тянулась монолитная скала, а слева — сложенная из обтесанных камней стена. В ней было четыре двери из красного дерева, вставленные в каменные же рамы. Один из идущих позади чаушей подтолкнул Ибрагим-бея к первой из них. Тот молча повиновался.

Правитель Египта вошел в тесное узилище, и дверь захлопнулась за ним. Он огляделся: голые каменные стены, в потолке — широкое отверстие для воздуха, зарешеченное узкими досками. В квадраты этой решетки было видно серое каирское небо. Однако они, эти квадраты были так малы, что в них невозможно было просунуть даже голову, вздумай узник это проделывать.

Ибрагим-бей сделал несколько шагов и остановился. Сквозь отдушину в потолке в темницу проникал слабый свет. «Жаль, одолел меня этот ничтожный Хиор-Ахмед», — в его глазах были и гнев и обида. Скольких таких ахмедов победил он за свою жизнь в открытом честном бою. На этот раз Ибрагим-бей чувствовал, что за пашой стоит некто коварный и сильный, и даже догадывался, кто он. Вот почему все надлежало взвесить и рассчитать особенно тщательно. С той поры, как Селим Первый возложил на Каир тяжкое ярмо зависимости, отношения Египта с блистательной Портой скорее всего были похожи на игру в кошки-мышки, в которой роль кошки постоянно принадлежала, разумеется, последней. У хвантқара, по воле Аллаха, были достаточно длинные лапы и острые когти, а сети его агрессивных планов раскинулись от стен Вены до Кавказа.

Скрипнула дверь. Ибрагим-бей вздрогнул и оглянулся. На пороге стоял молодой чауш. В одной руке он держал факел, в другой охапку какого-то тряпья.

— Дженаб, по ночам тут очень холодно, — сказал он смущенно, входя в темницу. — Там у стены есть немного сена. Ты сгребь его, а вот этим укройся. Я понимаю, не к лицу тебе укрываться такими лохмотьями, но, что Аллах послал...

Чауш бросил тряпье к ногам узника и вышел. Наступила ничем более не нарушаемая тишина.

Только на следующий день, когда Ибрагим-бей уже совершил свой утренний намаз, дверь снова со скрипом отворилась. На этот раз чауш с факелом ввел в темницу Ридван-бея. Тот горбился. На голове его не было чалмы. Чауш, не проронив ни слова, вышел.

* * *

Перед сном, после вечернего намаза, Ибрагим-эль-Черкез обычно еще долго прогуливался по своему огромному роскошному саду. Его двухэтажный беломраморный дворец, как и дворец Ибрагим-бея, находился в Аль-Азбакии, на восточной окраине Каира. Сразу же за стеной сада начинались пересеченные каналами поля. Один из больших каналов протекал через сад Эль-Черкеза. На его берегу, в цветнике, среди хризантем, роз и гвоздик, стояло длинное здание из желтого камня. Это был гарем бея. Перед ним постоянно прохаживались три-четыре вооруженных карабинами мамлюка.

Уставший за день Ибрагим-эль-Черкез медленно пересек большой двор и перешел через канал по узкому деревянному мосту. Сюда доходил пряный аромат ширазских роз и гвоздик. Стоя среди подстриженных яблонь, бей смотрел на гарем. Заметившие его мамлюки застыли навтыжку, не сводя преданных глаз с хозяина. Ибрагим-эль-Черкез медлил в нерешительности — продолжить свой путь к гарему или вернуться во дворец, когда на мосту появился хазандар*. Подойдя к бею, он с трудом перевел дух после быстрой ходьбы и проговорил:

— Пожаловал Латип-бей, дженаб. Он ждет тебя во дворце. Сказал, что очень торопится.

Эль-Черкез нахмурился и недовольно проворчал:

— Какое время ходить в гости. Сейчас, наверное, уже за полночь.

Худой, до нелепости длинный слуга пожал узкими плечами.

— Я не знаю, дженаб. Он говорит, что ему немедленно нужно повидать тебя...

Что-то бормоча, Эль-Черкез неохотно двинулся к

* Хазандар — хранитель казны.

мосту. Хазандар, как верный пес, поплелся следом. Когда они были уже на мосту, бей раздраженно сказал:

— Проводи его в зал. Я скоро приду туда.

Хазандар молча поклонился и, оставив своего хозяина позади, поспешил выполнить его приказ.

Ибрагим-эль-Черкез не спеша миновал мост и зашагал по усыпанной нильским песком дорожке, ведущей ко дворцу. Когда он наконец появился в большом, богато убранном зале, чем-то явно встревоженный Латип-бей нетерпеливо шагал от окна к двери и обратно, держа руки за спиной и наклонившись всем корпусом вперед. Он напоминал волка, мечущегося в клетке. Увидев хозяина, он остановился, распрямился и, не здороваясь, загремел:

— Это что происходит, Ибрагим?! Хватают шайха-ал-балада, бросают в темницу, а диван ничего не знает об этом! Этим паша показал, что ему плевать на наше мнение!

Глаза Ибрагима-эль-Черкеза сверкнули гневом, но он продолжал молчать, что еще больше распалило Латип-бея, и он продолжал:

— А мы что, будем, как женщины, сидеть по домам? Ведь тогда он всех нас по одному уничтожит! Ты что молчишь? Язык, что ли, проглотил?

Ибрагим-эль-Черкез побагровел.

— Ахмед-паша сказал мне, что разберется в деле шайха-ал-балада по шарияту. Не будем суесться!

Латип-бей в неистовстве топнул ногой:

— Паша на место шайха-ал-балада уже без всякой суеты назначил Хуссейн-бея и даже не подумал об этом сообщить дивану, я уже не говорю о том, чтобы посоветоваться с ним. Как ты не понимаешь, что этот шакал облил нас всех водой, в которой вымыл свои грязные ноги?!

— Гнев омрачил твой разум... — начал было Ибрагим-эль-Черкез.

— Да, гнев!.. Нас оскорбили! Я послал своего кашифа к бегам. Мы еще заставим пашу пожалеть о содеянном!

— Опомнись, Латип! Ведь Ахмед-паша наместник самого хванткара!

— Еще при Селиме Первом хванткар скрепил своей печатью права шайха-ал-балада и дивана, и если какой-

то паша забыл об этом, мы своими саблями освежим его память! — Латип-бей вплотную подошел к Эль-Черкезу и, положив свою красную толстую руку на рукоятку сабли, процедил сквозь зубы: — Если в тебе не остыло сердце мамлюка, будь на рассвете на площади Ар-Румаил! — Он снова топнул ногой и проревел: — И чтоб даже джинны не смогли удержать тебя! Не позорь себя, слышишь?

И Латип-бей стремительно выбежал из зала.

* * *

Когда совсем стемнело, в дверь темницы кто-то осторожно постучал. Ибрагим-бей напряг слух и бесшумно приблизился к двери. Стук повторился. Затем раздался шепот:

— Дженаб Ибрагим, тебя и Ридван-бея решили убить. Мы стараемся что-нибудь предпринять. Может быть, устроим вам побег. Будьте наготове...

И снова воцарилась полная тишина. Удивленный, Ибрагим-бей вернулся на свое место и тихо позвал:

— Ридван, ты где?

— Я здесь, — шепотом отозвался его каймакам.

— Ты все слышал?

— Слышал. Только нельзя им доверять. Это может быть уловка паша. Потом он скажет, они, мол, затеяли побег, и нам пришлось их убить. Мертвые-то молчат...

— Почему ты так говоришь, Ридван? Мир не без добрых людей. Посмотри, может быть, кто-то действительно хочет нам помочь.

— Ибрагим, ты веришь, что... — шепот Ридвана звучал теперь совсем рядом.

— Да, верю! А почему бы мне не верить? Ведь не все же розы добра, возвращенные мною, должны быть с шипами!

Ибрагим-бей почувствовал, как Ридван коснулся его руки.

— А я вот сомневаюсь, Ибрагим... А что, если это все-таки западня, которую нам готовит проклятый паша? Да покарает его Аллах!

Шайх-ал-балад нащупал ногой сено и опустился на него. Ридван-бей последовал его примеру.

— Впрочем, кто знает. Да поможет нам Аллах из-

брать верный путь... — прошептал он после некоторого молчания.

За всю ночь больше никто не подходил к дверям их темницы.

Рассвело. Отдушина в потолке слабо засветилась. Неожиданно дверь со скрипом распахнулась. Это один из чаушей принес узникам по куску хлеба с бараньим сыром и глиняную миску с водой. Положив все это на пол перед понуро сидящим Ридван-беем, он, не проронив ни слова, ушел. Его шаги вскоре замерли в глубине коридора.

В этот день узники так и не прикоснулись к еде. Ридван-бей безучастно лежал на соломе, то и дело сердито поглядывая на шайха-ал-балада, который в напряженной позе стоял посреди темницы и, не отрываясь, смотрел сквозь решетку на небо.

За последние два дня Ибрагим-бей сломался и, казалось, даже постарел. Путь в Мекку и обратно подорвал его силы, затем события последних дней и наконец это холодное тесное узилище, ожидание смерти... На своем веку он повидал немало и хорошего и плохого, не раз бесстрашно смотрел в лицо смерти, а теперь его, грозного, отважного вождя мамлюков в любую минуту могут безнаказанно зарезать, как барана. Иногда он даже жалел, что не послушался Ридвана. Может быть ему действительно следовало обратить против паши оружие, а не сдаваться ему, уповая неведомо на что... Но пошли ли бы тогда за ним все беги? Вот в чем вопрос.

Эту ночь Ибрагим-бей провел без сна, а как только рассвело, поднялся и занял свое место под отдушиной. Свежий утренний воздух щедро струился сверху и приятно охлаждал пылающее лицо. А потом со стороны площади Ар-Румаил донесся глухой гул, который вскоре перерос в такой шум, точно неведомый враг пытался взять цитадель приступом. Затем с площади донеслись громкие крики и, как волна, покатались к Мукатаму. Когда же прогремел первый пушечный залп, Ибрагим-бей уже не сомневался, что это беги, действительно, решили взять каирскую цитадель приступом. Он в волнении сжал плечо Ридван-бея.

Пушки продолжали палить, и небо за решеткой отдушины почернело от порохового дыма. В узилище ста-

ло темно как ночью. Шайх-ал-балад зашагал от стены к стене.

— Что происходит, Ибрагим? — услышал он голос Ридвана.

— Мне кажется, беги победили. Они уже в крепости. Подожди!

Ибрагим-бей остановился и повернулся к двери. В коридоре зазвучали голоса и топот множества ног. Потом кто-то начал ломиться в дверь. Наконец она поддалась и с грохотом распахнулась. Темницу залил яркий свет факелов. На пороге стояли Латип-бей и Ибрагим-эль-Черкез. За ними — Абд Ар-Рахман и кашиф Али.

— Слава Аллаху, ты жив, Ибрагим! — воскликнул Латип-бей, входя в темницу.

Шайх-ал-балад молча смотрел на пришедших. И только, когда Али шепотом сообщил ему, что Хиор-Ахмед-паша схвачен и связан крепкой джутовой веревкой, он нахмурился и взглянул на Латип-бея:

— Я надеюсь, мамлюки не разорвали пашу?

Тот улыбнулся и покачал головой:

— Нет, дженаб. Его скоро приведут сюда. Пока диван не вынесет ему свой приговор, он будет находиться в этой самой темнице. Когда прикажешь созвать диван?

— Немедленно! — ответил правитель Каира. — Нил поднялся и готов выйти из берегов. Пора направить его воды в каналы.

Над Каиром занялось еще одно беспокойное, тревожное утро. Напуганные пушечной пальбой купцы постепенно приходили в себя. Они отодвигали тяжелые засовы на дверях своих домов и, стоя на пороге, со страхом смотрели в сторону Мукатама. Черные тучи дыма над ним рассеивались. К полудню город от Азбакии до Дар-эль-Кадима вернулся к привычной жизни. В Булаке распахнулись ворота большого базара. Торговцы разложили на прилавках и прямо на земле свои товары — тщательно обработанные буйволиные и бычьи шкуры, отборную египетскую пшеницу, нильскую рыбу, лен и коноплю, немытую баранью шерсть и белоснежный хлопок, мед, сахар, воск, шафран, доставленный из Йемена ароматный кофе... Открылись знаменитые каирские бани — гамамы, в которых шариат ве-

лит омыться хоть раз в жизни каждому правоверному. На дороге Аль-Джувания синайский архиепископ широко распахнул двери греческой церкви. На улице Хартель-Ихут евреи приводили в порядок вскопанный ядами пушек двор своей синагоги.

А в это время на Мукатамском холме, во дворце наместника хванткара уже собирался верховный парламент мамлюков — диван. Огромный зал, освещенный лучами солнца, проникающими сквозь высокие окна, в которые были вставлены красные и синие венецианские стекла, заполнили санджак-беги. Взмолвленные недавними событиями, они громко переговаривались. Наконец в зал вошел шайх-ал-балад. Он так и не успел переодеться. На нем был все тот же запыленный дорожный плащ и высокая чалма из выцветшего синего шелка. Санджак-беги умолкли. В зале воцарилась тишина. Ибрагим-бей остановился в высоких дверях и отвесил общий легкий поклон, приложив правую руку к груди. Он не спеша прошел по огромному пестрому ковру через весь зал и тяжело опустился на ярко-красную атласную подушку.

Притихшие беги не сводили глаз с шайха-ал-баллада. Тот достал янтарные четки, помедлил с минуту, перебирая их крупные зерна, потом поднял голову и оглядел зал.

— В плохую историю мы угодили, беги, — взгляд Ибрагим-бея остановился на Ридван-бее, сидящем впереди всех, и теперь он говорил, глядя только на него. — Это очень нехорошая история. Джинны овладели Ахмедом-пашой, помutilи его разум, и он объявил дивану войну. Хотя Египет с времен Селима Первого и считается страной, подвластной хванткару, наш диван всегда оставался независимым, за мамлюками сохранялась и власть и земли. Ахмед-паша решил лишить нас прав, узаконенных самим хванткаром. Мы никому не должны прощать оскорбление, нанесенное дивану. Защита справедливости всегда была главной целью мамлюков. Мы и сегодня не собираемся от нее отказываться. Потому мы и собрались здесь, чтобы вместе, сообща найти причину обрушившихся на наши головы бед и решить, как нам быть дальше. Беги, я хочу услышать ваше слово. Растерянность никогда не была

свойственна вам, и я надеюсь, что и сейчас ваша мысль ясна, как солнечный день.

Шайх-ал-балад снова опустил голову и стал пере-
бирать четки.

Беги по-прежнему не сводили с него глаз и хранили молчание.

Наконец Абд Ар-Рахман выкрикнул из середины зала:

— Пусть говорит Ридван-бей!

Все его поддержали, однако каймакам шайха-ал-балада хранил молчание. Ибрагим-бей поднял голову от четок и теперь устремил свой взгляд на Эль-Черкеза. Их взгляды встретились. Шайх-ал-балад знал цену слову своего тезки. Вот почему он так упорно смотрел ему в глаза, пока тот не заговорил.

— Да, братья-мамлюки, — начал Ибрагим-эль-Черкез, — опозорили нас, оскорбили. Я прожил на этом свете не так уж мало, однако, мои глаза не видели, а уши не слышали, чтобы шайха-ал-балада и его каймакама хватали среди бела дня и бросали в темницу. Более того, как вам известно, Ахмед-паша намеревался посадить на его место Хуссейн-бея, не известив об этом диван. Я вас спрашиваю, беги, слышали ли вы когда-нибудь о подобном беззаконии?

— Нет, не слышали! — пронеслось по залу.

— Вот что позволил себе Ахмед-паша. Хуссейн-бей успел уйти от нашего гнева, но наступит время — мы и с него спросим за предательство! Зато пашу мы захватили и бросили в темницу. Мы могли бы поступить с ним иначе, но мы обязаны помнить, что отец и повелитель всех пашей Египта сидит в Стамбуле и все видит оттуда, вплоть до самого Судана. Сейчас такое время, когда столкновение с хванткаром ничего, кроме вреда, не может принести нам, мамлюкам.

Ибрагим-бей с облегчением вздохнул и с благодарностью посмотрел на оратора, а тот продолжал:

— Да хранит нас Аллах от того, чтобы мы, замахнувшись на шакала, не оказались в когтях льва. Я правильно говорю, беги?

Диван хранил молчание. Тогда Ибрагим-бей Эль-Черкез заговорил с еще большим пылом:

— Любое дело только тогда может рассчитывать на успех, когда за него берутся разумно, заранее все

тщательно взвесив и продумав. Последствия неразумных деяний темны и непредсказуемы. Так не будем же следовать голосу собственного гнева, чтобы не навлечь на себя еще большей беды. Хватит и того, что в Каир уже пришли смерть и слезы. Мы должны доставить пашу в Стамбул к его повелителю в целости и сохранности. Пусть тот сам вынесет приговор своему недостойному сыну. Это будет единственно правильным решением. Не так ли, беги?

— Так, Ибрагим-бей, так! — крикнул Абд Ар-Рахман и все остальные вслед за ним.

Эль-Черкез обеими руками утер пот с лица, довольно улыбнулся и посмотрел в сторону шайха-ал-балада. Тот улыбнулся ему в ответ и кивнул.

Когда в зале загремел голос Латип-бея, шайх-ал-балад насторожился — ему хорошо был известен неукротимый нрав этого старого воина, однако на этот раз его опасения были напрасны.

— Беги, до того, как я пришел в этот зал, гнев испепелял мое сердце. Мудрые речи Ибрагим-бея пробудили мой разум. Теперь я придерживаюсь того же мнения, что и он! — заявил Латип-бей. — В создавшейся ситуации нам остается одно — вложить наши сабли в ножны и ждать решения Стамбула. Да услышит нас Аллах! Да вразумит он хванткара!

Латип-бей умолк. На некоторое время в зале наступила тишина. Затем прозвучал голос Ридван-бея:

— Беги, Аллах ниспослал нашему дивану мудрое решение. Так отправим же захваченного нами пашу в Стамбул...

— И послание, — подсказал Осман-бей.

— Да, и послание, в котором расскажем хванткару о бесчинствах паши. Послание попросим составить шайха-ал-балада. И еще — все вместе позаботимся о достойном подношении хванткару. Это, пожалуй, все, что я хотел сказать вам, беги.

Когда Ридван-бей умолк, Ибрагим-бей спрятал четки, выпрямился на своей алой подушке и оглядел всех присутствующих.

— Итак, нам остается составить послание на имя хванткара и отправить его вместе с плененным нами пашой. Диван рассудил мудро. Сегодня мы с Ридваном напишем послание и завтра же отошлем Ахмеда-пашу

в сопровождении чаушей в Стамбул. — Шайх-ал-балад устало улыбнулся. — Заседание дивана окончено. Возблагодарим же Аллаха за то, что он помог нам вынести мудрое решение.

* * *

После описанных событий прошло три долгих месяца, полных напряженного ожидания. Наконец в один из ветреных январских дней в александрийский порт вошло шестнадцативесельное однопарусное турецкое судно. Как только сброшенный с него канат был прочно намотан на каменную тумбу, на его палубе появился, кутаясь в синий шерстяной плащ, присланный из блистательной Порты новый паша Каира — Рахиб-Мухаммед. Поднятые сильным ветром волны достигали сходней и, прежде чем паша ступил на землю, они намочили его с ног до головы. Однако это несколько не испортило ему настроения. Он весело пожал руку начальнику чаушей и приветствовал его, не скупясь на любезности. Затем новый паша проследовал в свой беломраморный дворец. Отдохнув с дороги, он тут же отправил к шайху-ал-баладу гонца с медоточивым посланием.

Ибрагим-бей давно уже знал, что со дня на день в Александрию пожалует Мухаммед-паша. Ждал он и письма от великого визиря Порты. Так что в происходящем для него ничего не было неожиданного... События развивались по издавна заведенному обычаю, который был введен еще в конце шестнадцатого века непобедимым Селимом Первым...

Кашиф Али развернул свиток с печатью великого визиря Порты и передал его Ибрагим-бею. В нем сообщалось, что хванткар весьма огорчен предательством бесчестного Хиор-Ахмеда, что он смертью покарал сего недостойного своего сына, и что голова его целую неделю красовалась перед мусульманской мечетью в Стамбуле для всеобщего обозрения. Далее хванткар, не скупясь на эпитеты, расхваливал направляемого им в Египет нового пашу Рахиб-Мухаммеда, называл его справедливым и милосердным. Тон послания был сладким. В конце его великий визирь выражал надежду, что каирский диван хорошо примет нового пашу — достойного сына хванткара...

У каирского же дивана были свои правила игры —

он никогда не спешил принять очередного пашу. Мамлюк-беги сперва желали все обсудить и взвесить. Им предстояло разузнать, что нашептал в уши «своему сыну» хванткар, отправляя его к ним, — они-то знали, что великий визирь никогда не писал того, о чем помышлял на самом деле. Поэтому-то Каир медлил и не слал своих послов к новому паше.

Целую неделю томился Рахиб-Мухаммед-паша в ожидании вестей из Каира, но никто так и не заглянул в его широкий двор. Зато за воротами его дворца было полно соглядатаев шайха-ал-балада. В их задачу и входило выяснить истинные намерения хванткара. Чаша терпения нового паши переполнилась, а диван, между тем, продолжал упрямыться, как норовистый жеребец. Шайху-ал-баладу потребовалось еще десять дней, чтобы собрать все нужные сведения, получить всю возможную информацию, и только окончательно убедившись в том, что новый паша не грозит Каиру большими подачками и неприятностями, чем его многочисленные предшественники, он собрался в Александрию. Четыре сильных верблюда и еще сколько-то мулов были навьючены дорогими подарками. И вот длинный караван вышел из ворот Каира.

Когда Мухаммеду-паше наконец сообщили, что шайх-ал-балад с большой свитой направляется к нему, он велел подготовить такую встречу, какой не удоставался еще ни один вождь каирских мамлюков.

Едва Ибрагим-бей осадил коня перед воротами дворца паши, в них появился сам сияющий Рахиб-Мухаммед. Шайх-ал-балад легко соскочил с коня, бросил поводья коноху и пошел ему навстречу. Приблизившись, он отвесил легкий поклон, однако, прежде чем он успел распрямиться, паша дружески обнял его за плечи.

— Радость моя достигает небесных светил, когда я слышу рядом дыхание любимого брата. Я так давно жду тебя, Ибрагим-бей. Кахия Измаил сказал мне, что шайх-ал-балад не переносит влажного климата Александрии, и это немного успокоило меня, не то я уже готов был думать, что чем-то обидел тебя.

Ибрагим-бей улыбнулся.

— Начальник чаушей сказал тебе истинную правду. Стоит мне приехать в Александрию, как я начинаю плохо чувствовать себя. Мне вреден морской воздух.

— Это ничего, брат. Не огорчайся. Каир, воистину, лучше Александрии. — Паша снова обнял Ибрагим-бея и шепотом добавил: — Главное, чтобы моему брату там было хорошо.

Шайх-ал-балад оценил намек и еще приветливее улыбнулся новому паше.

— Дженаб, когда из Стамбула дует теплый ветер и доносит до нас аромат дрока, все мы чувствуем себя прекрасно. Когда же Аллах гневается на нас, и ветер этот меняет свое направление, вот тогда-то и начинаются все наши беды.

Паша крепко сжал плечо Ибрагим-бея и одобрительно расхохотался. Хохотал он долго, до слез, потом наконец умолк, вытер глаза и, отдышавшись, произнес многозначительно:

— Полно! Мы оба — и ты и я сидим на одном дереве, и нам остается одно: помнить, что молиться мы должны на разных его ветках. Тогда северный ветер, пропитанный приятным ароматом дрока, постоянно будет дуть в нашу сторону. Да услышит нас Аллах! Да отведет он от нас злой ураган!

Ибрагим-бей кивнул. Он понял, что на этот раз из Стамбула прибыл человек, который отлично знает границу, за которую не следует переступать, если хочешь жить в мире с мамлюками.

Между тем подъехали и спешились все санджак-беги. Ибрагим-бей поочередно представил их паше. Тот оглядел их и произнес с приветливой улыбкой:

— Слава Аллаху! Теперь я наконец ощущаю, что действительно нахожусь в Африке — столько львов сразу мне раньше никогда не приходилось видеть.

Он поклонился и пригласил гостей пройти в дворцовый сад. С просветленным лицом, счастливый и довольный Рахиб-Мухаммед-паша шел впереди. На полшага позади него следовал шайх-ал-балад. Когда они вошли в великолепную пальмовую аллею, хозяин остановился у высокого, окованного серебром ларя из черного дерева. Он торжественно откинул его крышку, обеими руками извлек из него отделанную золотом, серебром и драгоценными камнями соболью шубу и, улыбаясь, накинул ее на могучие плечи Ибрагим-бея. Тот поклонился и шагнул в сторону. Мухаммед-паша снова опустил руку в ларь. На этот раз он достал из него изо-

гнутую, как серп луны, великолепную турецкую саблю и вручил ее Ридван-бею.

Пока новый паша одаривал в своем саду мамлюк-бегов, слуги Ибрагим-бея сняли с верблюдов и мулов тяжелые выюки. Во дворе они расстелили на земле дорогие ковры, разложили на них множество серебряной утвари, в том числе и отделанные эмалью кальяны. Паша то и дело косился в ту сторону. Одарив всех бегов, он вдруг остановил свой взгляд на кашифе Али. На его лице появилась добрая улыбка.

— Подойди ко мне, юноша, — проговорил он, и его рука снова опустилась в ларь. Пока он выбирал очередной подарок, Ибрагим-бей приблизился к нему и негромко сказал:

— Дженаб Мухаммед, этот молодой человек — мой кашиф. Он сопровождал меня в Мекку. Разбойники бежали от него, как цыплята от коршуна.

— Я это прочел на его челе. Вижу, новый лев мужает в Каире. Пусть носит он эту шубу на счастье! — с этими словами Мухаммед-паша ловко развернул в воздухе пеструю, как шкура тигра, шубу и накинул ее на Али.

— Благодарю тебя, дженаб! Ты навеки обязал меня своей добротой. Можешь всегда рассчитывать на мою саблю, — проговорил с достоинством молодой мамлюк.

На расстеленных вдоль всей пальмовой аллеи коврах слуги паши уже расставляли угощение. Довольный хозяин взял под руку шайха-ал-балада:

— Пошли, брат Ибрагим, перекусим. Нужно позаботиться и о желудке. Нам с тобой делить нечего. Повязаны мы одной веревкой, оба конца которой крепко держит рука хванткара. Я всегда помню и тебе тоже советую не забывать о том, что за спиной у нас стоит султан с отточенным ножом.

Мухаммед-паша заглянул в глаза шайху-ал-баладу и подмигнул ему. Он был весел и очень доволен — он понимал, что отныне двери дворца на холме Мукатам открыты для него.

* * *

Силахдар Али бесшумно прошел по пальмовой аллее и остановился у ворот. Перед дворцом, глядя в сто-

рону темной улицы, неподвижно стоял стражник. Полночь давно миновала, и полная луна уже светила со стороны Гизы.

— Абдулла, — тихо окликнул стражника Али.

— Кто это там? — отозвался тот и неохотно двинулся к аллее.

— Это я, силахдар Али. Хозяин уже лег спать?

Абдулла вплотную подошел к нему и только тогда заговорил:

— Ах, это ты, Али? Хозяин только что лег. Ты что, собрался в город?

— Да. Я скоро вернусь.

— Будь осторожен. Не споткнись о камень, брошенный злым человеком.

Силахдар Али потрепал Абдуллу по плечу и выскользнул за ворота. Оказавшись на улице, он сперва посмотрел направо, в сторону спящего города, а затем налево, в сторону Мукатама. Убедившись, что вокруг ни души, он изо всех сил бросился бежать по улице.

Аль-Азбакия безмятежно спала. По обе стороны, за высокими стенами виднелись двух- и трехэтажные дворцы, темные сады. Кое-где перед дворцами тускло светились факелы.

Силахдар Али уверенно бежал вдоль пальмовой аллеи. Добежав до большого канала, он остановился и некоторое время внимательно всматривался в перекинутый через него узкий деревянный мост. Наконец он стремительно и бесшумно перебежал его, свернул влево и остановился под пальмами.

— Али! — услышал он вскоре женский шепот. — Я здесь.

Али шагнул глубже в тень и через мгновение уже прижимал к своей груди трепещущую молодую женщину. То была любимая рабыня Ибрагима-эль-Черкеза — Барра.

— Сколько же можно прятаться ото всех, любимая?! — с болью воскликнул он.

— Тише, дворец в двух шагах.

— Этот старый пес давно, наверное, спит... Чтоб ему не проснуться!

— Он-то спит, зато сторожевые псы его бодрствуют...

Али запрокинул голову женщины и приник к ее губам. Потом шепнул:

— Пойдем, Барра, пойдем, любимая, скоро начнет светать.

Обнявшись, они углубились в финиковую рощу, тянущуюся вдоль канала. Когда дворец Эль-Черкеза остался далеко позади, они опустились на прохладный, влажный песок. Барра стянула сапожки и погрузила ноги в теплую, как парное молоко, воду. Али подвинулся к ней, обнял, осторожно опустил ее на песок и нашел в темноте ее горячие губы.

— Ты так редко приходишь ко мне... — шептала она. — Когда Мустафа сказал, что ты сегодня придешь, у меня от счастья выросли крылья.

— Поверь, это очень нелегко, жизнь моя. Ведь ты и сама знаешь, сколько опасностей подстерегает нас.

— Знаю... — девушка, закрыв глаза, запрокинула голову.

Наконец Али поднялся на колени и, продолжая осыпать девушку поцелуями, бережно снял с нее платье. Теперь она лежала перед ним на песке нагая...

Через некоторое время она села и снова опустила ноги в теплую нильскую воду. Али лежал на спине, глядя на луну. Барра вздохнула, глаза ее вдруг потухли и стали печальными.

— Что с тобой, жизнь моя?

Барра молчала. Али поднялся и сел рядом с нею.

— Что-то случилось, любимая?

— Мне страшно, Али!

Али засмеялся. Девушка обиженно отвернулась от него и стала смотреть на воду.

— В чем дело? За что ты рассердилась на меня?

Рабыня Ибрагима-эль-Черкеза снова тяжело вздохнула.

— Я же сказала, мне страшно!

Юноша обнял ее и крепко прижал к груди:

— Кто посмеет тронуть тебя?! Я убью его!

Барра обвила тонкими обнаженными руками шею своего возлюбленного:

— В гареме мне страшно. Ибрагим так жесток! На днях, на наших глазах, по его приказу замучили Хаву.

— Кто такая Хава?

— Ах, какая она была красавица! У нее был возлюбленный — один молодой еврей.

— Расскажи мне все, — попросил Али.

— Этот парень разыскал ее. С ним было еще четверо. В среду каким-то чудом им удалось перелезть через стену гарема и похитить Хаву. Собаки подняли лай. Бег послал за беглецами погоню. Их настигли у Суэца. Всех пятерых мужчин зарубили на месте, а девушку привезли назад. Вчера в полдень нас всех вывели во двор, привели Хаву и повесили ее за ноги на дереве... На самом солнцепеке...

— А потом?

— А потом произошло самое ужасное — ей выкололи глаза и вырвали язык...

— Замолчи! — вскричал в ужасе Али.

Некоторое время оба молчали.

— Пошли, любимая. Начинает светать, — наконец еле слышно проговорил юноша.

Обнаженная Барра поднялась с песка, повернулась лицом к луне и грациозно поправила свои растрепавшиеся пышные волосы. Затем обеими руками она отряхнула с тела приставшие к нему крупинки желтого нильского песка и, нагнувшись, подняла брошенное у воды платье.

— Пошли, — согласилась она, приблизив свое лицо к лицу Али. — Фатима говорит, что тот, кто каждый день разгребает золу, не может не обжечься однажды...

— Кто такая Фатима? — спросил Али.

— Такая же, как и я, забытая Аллахом рабыня волосатого Ибрагима. И еще она говорит, что женщина, которой удалось обеими руками дотянуться до солнца, не боится быть испепеленной его лучами, а если это с ней происходит, она никогда не сожалеет о том, что дерзнула тянуться к солнцу...

* * *

Шайх-ал-балад, скрестив ноги, сидел на алой атласной подушке в малом зале своего дворца и беседовал с маалимом Микаэлем Фархом. Справа от гостя разместился кашиф Али, молча перебиравший четки.

— Не верь никому, дженаб, что Нил особенно обилен в заливе Абукир! Все это выдумки невежд. На самом деле, самый мощный рукав священной реки нахо-

дится у Ганзелы. Это — огромная река, и впадает она в море как раз перед нашей таможней в Дамиате. Пер-
вое, что видишь, выходя из таможни, это мутные воды
Нила. Они так обильны, что окрашивают в этом месте
море аж до самого горизонта в серый цвет. А сколько
там в прибрежных зарослях фазанов, диких уток! Вот,
где благодать для любителей охоты. Поверь мне, дже-
наб, во всей дельте нет места лучше!

Ибрагим-бей улыбнулся:

— Да, бродить в прибрежных зарослях прекрасно,
если не наткнешься на крокодила...

— Ты прав, там всегда нужно быть начеку. Но мои
предки — копты говорили: самую прекрасную розу сте-
регут самые острые шипы.

Ибрагим-бей молчал. Улыбка сошла с его лица.
Он жестко посмотрел своему гостю в глаза:

— Итак, что рассказывают прибывшие в Дамиат
купцы, Микаэль? Какие вести из Турции?

Маалим Микаэль замялся, пожал плечами, ог-
ляделся и заговорил, понизив голос:

— После убийства Надир-шаха Персия распалась,
как пучок соломы, связанный гнилой тесьмой. Однако
Турции от этого не намного стало легче. Говорят, рус-
ские от Влахии до Кавказа одновременно открыли три
фронта, и теперь, мол, начнется большая война.

Спокойно перебирая четки, Ибрагим-бей вставил:

— Давно так говорят, однако ни русские, ни тур-
ки за все это время не осмелились ни на один залп.

— И то верно, дженаб.

Шайх-ал-балад погрузился в свои думы. Он дол-
го сидел молча, неотрывно глядя на узор пестрого ков-
ра. Наконец он поднял голову и улыбнулся собесед-
нику:

— Ты вот что мне скажи, Микаэль, ведь нелегко
 всю жизнь проторчать на таможне?

— Конечно же нелегко, — улыбнулся и тот, — но
что поделаешь? Не мне менять давно заведенный по-
рядок. Видно, сам Создатель в Египте доверил нам, коп-
там, таможню, как евреям — торговлю. Вот мы и му-
чаемся, так как знаем, что у Бога свои законы, своя
цель, и он ни у кого не спрашивает, что ему нравится, че-
го он хочет... И он, наверное, прав. Ведь желания чело-
веческие неиссякаемы, как воды Нила, — исполнится

одно, тут же появляется второе, третье... Разве нашелся на свете хоть один христианин, мусульманин или иудей, который сказал бы: «О, Создатель, ты одарил меня богатством и милостью своей, позволь же мне теперь поделиться своим достоянием с братом моим!» Нет, дженаб, не было еще такого и не будет впредь. Все мы — и христиане, и мусульмане, и сыны Израиля сотворены из одной и той же грязной акабской глины, и сколько ни пытается Творец наш отмыть нас — и в дни Светлого Воскресения и в дни Байрама — мы все равно остаемся такими же грязными, нечестивыми и пребудем такими, пока не постучит в двери наши архангел Гавриил, а по-вашему — Джабраил, и не потребует вернуть ему на время доверенную нам душу.

Ибрагим-бей задумчиво смотрел на копта, а когда тот умолк, заговорил:

— Я слышу мудрые речи из уст твоих, Микаэль. Размышлять о пути человека, о его судьбе — труд неблагодарный. Слишком редко удача освещает этот путь, который порой так извилист, что она просто не может найти идущего по нему, если даже и желает помочь ему. В момент нашего появления на свет Аллах одевает на нас черную сорочку греха и вручает нам мешок страданий и слез, и не приведи Аллах, чтобы мешок этот опустел, и человек познал полное счастье — все тогда потеряет цену...

Маалим Микаэль согласно кивнул головой и произнес:

— Выходит, дженаб, для своей же пользы человек должен сам беречь свою сорочку греха и свой мешок страданий и слез?

— Увы, Микаэль. — Глядя исподлобья на своего собеседника, Ибрагим-бей снова начал перебирать четки, а потом сказал: — Еще об одном я хотел бы спросить тебя, мой Микаэль.

— Я слушаю тебя, дженаб.

— Нет ли у тебя на примете человека умного, заслуживающего доверия и умеющего составлять бумаги?

Маалим Микаэль нахмурился и задумался. Он долго молчал, затем наконец улыбнулся и хитро поглядел на шайха-ал-балада:

— Дженаб, а если этот человек окажется коптом?

— Пусть будет коптом, — твердо сказал Ибрагим-бей.

— В таком случае я приведу к тебе такого человека. Это маалим Риск. Ты будешь доволен им.

— Я доверяю тебе, Микаэль, — шайх-ал-балад поднялся с подушки. Гость и кашиф Али последовали его примеру. Ибрагим-бей подошел к копту и, понизив голос, продолжал: — Маалим, прошу тебя, внимательно следи за всеми, прибывающими из Турции. Ведь у купцов языки длинные, и они не ленятся трепать ими. Рассказать тебе все новости во всех подробностях для каждого из них — одно удовольствие. Помни, маалим, когда хванткар чихает, мы отсюда, из Каира, тут же должны пожелать ему доброго здоровья.

Маалим понимающе улыбнулся и, поклонившись, направился к двери. Не успел он выйти, на пороге появился старый слуга.

— Дженаб Ибрагим, прибыл купец Иегуда.

— Веди его сюда, Мурад, веди! — лицо Ибрагим-бея оживилось. Слуга кивнул и вышел.

Через секунду на пороге появился маленький сухонький Иегуда. Он отвесил низкий поклон шайху-ал-баладу и пошел к нему через зал, на ходу приветствуя его:

— Да не лишит Каира всевышний сияния солнца днем и блеска звезд ночью. Да будет твой дворец всегда полон золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга. Пусть злой человек испустит дух, прежде чем переступит порог твоего дома. Добрый же и щедрый — пусть войдет сюда с богатыми дарами. А если в кошельке его не будет ни гроша, пусть он вознесет молитву во благо этого дома. Аминь!

— Да благословит тебя Аллах, Иегуда.

— Пусть и на тебе пребудет его милость! Соблаговоли принять от меня скромный дар — парчу и шелк, три венецианские подзорные трубы, пять венецианских зеркал и прочую мелочь. Твой дом велик, дженаб, одни приходят в него, другие уходят. Одни приносят в него, другие уносят из него. Да не оскудеет имение твое! Я вез тебе больше подарков, но мир обезумел, люди лишились разума и чести. И откуда только появилось столько разбойников?! Трижды нападали они на мой караван и отбирали у меня все до последней нитки!

— Садись, Иегуда, садись! — шайх-ал-балад подтолкнул нового гостя к подушке.

Купец Иегуда сел и умолк, дожидаясь, пока и хозяин займет свое место. Когда же тот уселся, он снова оживленно заговорил:

— Дженаб, я привел с собой шестьдесят рабов. Посмотришь на этих ребят и удивишься — один лучше другого! Таких и продавать жалко!

Степенно перебирая четки, Ибрагим-бей спросил:

— А откуда они родом, Иегуда?

— Только грузины и черкесы! Ты ведь знаешь, других рабов я сюда не привожу. Мне дорога моя репутация.

— Знаю, знаю... — усмехнулся Ибрагим-бей. — Завтра я и Али заглянем к тебе. Посмотрим на твоих рабов.

— Ты всех возьмешь, дженаб?

— Если они нам понравятся, то всех.

— Да благословит тебя Бог, дженаб! Они так привыкли друг к другу за время пути, что просто грешно их разлучать.

* * *

Дом купца Иегуды находился у северных ворот Каира, именуемых Дарб-аль-Кибear. Он стоял в самом конце узкой улицы, по обеим сторонам которой теснились разные лавки. Лет семьдесят тому назад дед Иегуды Яков пешком явился в Каир и за какие-то гроши приобрел это место. Ему повезло — он очень быстро разбогател и вскоре выстроил тут великолепный дом, а окружающий пустырь превратил в цветущий сад. Прошли годы, и у его старшего сына Авраама родился первенец, которого нарекли Иегудой. Мальчик этот родился под счастливой звездой. С ранних лет в нем обнаружился талант настоящего торговца. Он-то и стал продолжателем дела своего деда Якова. Сперва он помогал ему и отцу в лавке, затем, встав на ноги, стал бывать в Венеции и в Стамбуле. Оттуда он доставлял дорогую посуду, парчу и шелка. Со временем же, увидев большую выгоду в торговле рабами, занялся и ею. Раз в три-четыре месяца он отправлялся в Стамбул, где скупал отборных рабов, которых затем весьма вы-

годно продавал каирским бегам. Обычно они все с нетерпением ждали возвращения Иегуды, однако интуиция никогда не изменяла ему, и он безошибочно угадывал, кому первому следует предложить свою очередную покупку.

В то утро, едва открыв глаза, Иегуда почувствовал, что нынешний день обещает быть удачным. Он сел на постели, спустил ноги и сунул их в мягкие чувяки. Посидев так с минуту, Иегуда встал, распахнул дверь и вышел на балкон. Облокотившись на резные деревянные перила, он выглянул во двор. Там, перед домом, на выложенной каменными плитами дорожке стоял его племянник Исаак. Он явно был чем-то озабочен и испуганно смотрел на дядю.

— Я с плохой вестью, дженаб, — наконец выдавил он из себя.

Иегуда встревожился — неужели предчувствие обмануло его, и Бог отвернулся от него в это солнечное утро.

— Что? Что случилось? — крикнул он.

— Так... В общем-то ничего особенного. Один раб повесился. Снял с себя рубашку, на ней и повесился...

Иегуда бросился к лестнице.

— Кто? Который повесился? — кричал он на бегу.

— А тот, что все время плакал, — ответил ему Исаак..

Одолев лестницу, купец почти бегом направился к барaku, в котором разместили новых рабов. Однако идти до самого барака ему не пришлось — слуги уже вынесли самоубийцу и теперь волокли его за ноги в сторону дома. Увидев хозяина, они остановились. Иегуда наклонился, заглянул в лицо мертвого юноши, потом махнул рукой — уберите, мол.

— А остальные в порядке? — повернулся он к племяннику.

— В порядке...

— Ну, ладно. Пусть с этим несчастным уйдут все мои беды! И твои тоже... — Немного помолчав, Иегуда сменил тему: — Немедленно всех хорошенько накормить! Чтобы все были сыты. С минуты на минуту должен прибыть покупатель.

Продолжая громко отдавать распоряжения по хозяйству, он все же дошел до барака — длинного одно-

этажного строения из кирпича-сырца, с одной-единственной маленькой дверью и без единого окна. Его охраняли четверо вооруженных стражей. При виде хозяина они отошли от двери, а один из них — чернобровый детина, спросил:

— Отпереть дверь, дженаб?

Купец в нерешительности остановился и задумался. Он понял, что ему вовсе не хочется сейчас, натошак, видеть грязных, оборванных рабов. Он решительно повернулся и заспешил назад к дому, громко при этом выговаривая Исааку, который шел рядом:

— Слыханное ли дело? Я вас, целую ораву, задарма кормлю, пою да еще плачу вам звонкой монетой, а вы, болваны, ротозей, даже не в курсе того, что делается в доме!

Иегуда в сердцах сплюнул и прибавил шаг.

Когда прибыл шайх-ал-балад, Иегуда уже покончил с завтраком и вышагивал взад-вперед по балкону. Услыхав топот хорошо подкованных коней, он сразу же сообразил, что это Ибрагим-бей. Подбежав к перилам, он крикнул стоящему у ворот слуге:

— Ты что, оглох? К нам пожаловал шайх-ал-балад!

Тот засуетился, отодвинул тяжелый железный засов и распахнул обе створки массивных ворот. Ибрагим-бей въехал во двор, осадил коня и легко соскочил на землю. Тут же подъехали два саиса, подхватили с обеих сторон брошенные им поводья и ускакали с вороным в пальмовую аллею.

Хозяин дома тем временем, пыхтя, сбежал по лестнице и, приблизившись к высокому гостю, отвесил ему низкий поклон:

— Милости просим, дженаб! Милости просим! — радостно восклицал он, затем, оглянувшись на растерянного Исаака, распорядился: — Нугу и чай!

Однако Ибрагим-бей повелительно поднял руку:

— Нет, нет, мой Иегуда! Мы очень спешим! Лучше поскорее покажи нам свою покупку.

— В таком случае пожалуйста сюда! Сию минуту я покажу вам их. Ах, дженаб, если бы ты только знал, какого труда стоило мне довести их от Александрии до Каира! Едва добрались...

Когда они подошли к бараку, слуга распахнул перед ними дверь. Ибрагим-бей и все сопровождающие



его отпрянули — такой спертый, зловонный вырвался им навстречу из темноты барака.

воздух
808-1110133

Купец Иегуда засуетился:

— Ведь я приказывал вам проветривать помещение! И что за народ! Хоть кол на голове теши!

Желая поддержать свою репутацию хорошего хозяина, он самоотверженно первым вошел в барак. Однако ни шайх-ал-балад, ни кто-либо из его свиты не последовали его примеру. Все остались во дворе, дожидаясь, пока воздух в помещении очистится. Оттуда доносились крики и брань Иегуды. Наконец он появился на пороге и, любезно улыбаясь, пригласил всех войти.

Ибрагим-бей вошел в барак, но предпочел остаться у двери. Когда же слуги осветили факелами помещение, он сделал еще несколько шагов вперед и огляделся. Вдоль стен на соломе лежало несколько десятков юношей, едва прикрытых пестрыми грязными лохмотьями. Лицо шайха-ал-балада исказила болезненная гримаса. Что-то сдавило ему горло, и он глухо кашлянул.

— Смотри, дженаб, какие молодцы! Не правда ли, один лучше другого! — суетился между тем купец.

Ибрагим-бей тряхнул головой и прошел вперед. Иегуда, опередив его, подбежал к пленникам и грубо закричал по-арабски:

— Эй, вы, поднимайтесь! Поднимайтесь! Не видите, беги пришли?!

Шайх-ал-балад удивленно спросил его:

— Разве эти дети знают арабский?

— В пути я немного подучил их. Иегуда — человек предусмотрительный. Они еще будут благословлять меня за это.

— Да-а, — протянул Ибрагим-бей и кивнул.

— Всем встать, что вам говорят! — продолжал кричать купец, топая ногами, но пленники никак не реагировали на его крики.

Юные рабы с любопытством рассматривали шайха-ал-балада. Когда же он, высокий, широкоплечий, облаченный в белые одежды, подошел к ним поближе, они даже оробели. Ибрагим-бей понимал, что настала очередь и ему что-то сказать им, однако ком по-прежнему стоял в горле, и голос не повиновался ему. Он



внимательно оглядел оказавшегося перед ним, худого светловолосого паренька, и лицо его посветлело. Он ласково положил руку на его плечо. Юноша недоверчиво и хмуро смотрел исподлобья. Ибрагим-бей откашлялся и тихо спросил его по-грузински:

— Как звать тебя, сынок?

— Давид, бабаана*. Ты знаешь грузинский язык?

Ибрагим-бей горько улыбнулся.

— Знаю, знаю, сынок. Слава Аллаху, я еще не забыл его.

— Бабаана, ты что, тоже из наших?

Шайх-ал-балад опустил голову. Когда он снова посмотрел на паренька, тот все так же нетерпеливо во все глаза смотрел на него.

— Ты грузин? — наконец не выдержал он. Голос его прерывался от волнения.

— Да, сынок, грузин. И все они тоже, — он оглянулся на свою свиту. — Мы все из Грузии...

Зашуршала сухая солома. Юные пленники один за другим поднимались, переговариваясь между собой. А светловолосый паренек все не отставал от шайха-ал-балада.

— Бабаана, наш дом очень далеко отсюда?

Тот снова печально улыбнулся.

— Да, сынок, и твой и мой дом очень далеко отсюда. Но и Египет не такая уж плохая страна. Ведь мы живем тут, и неплохо живем. Дети мои, если вы предадитесь скорби по утраченной родине, силы и мужество покинут вас, и из вас никогда не получится настоящих мужей, воинов, а это значит, что от вас не будет никакой пользы ни вам самим, ни стране, в которой вам предстоит жить отныне.

Неподалеку смуглый чернокудрый паренек дергал за рукав кашифа Али:

— Кто этот человек? Скажи мне, кто он?

Али шепнул ему на ухо:

— Правитель Египта.

Паренек недоверчиво покачал головой:

— Если он такой большой человек, то что же его

* Бабаана — обращение к старшему по возрасту (Западная Грузия).

удерживает тут? Почему он не возвращается на родину? Разве он не может достать корабль?

— Но ведь и этой стране нужен правитель. Кто-то же должен управлять ею, заботиться о ней, — возразил Али.

— Ха, — возмутился смуглый паренек, — а почему бы о ней не заботиться тому, кто заботился прежде?

Шайх-ал-балад медленно прошел до самого конца барака, Иегуда и двое его слуг с факелами молча шли следом. Однако стоило ему остановить взгляд на ком-нибудь из ребят, как Иегуда тут же начинал рассыпаться в комплиментах:

— Ну, что? Каков? Ты только посмотри на него! Он ведь рожден, чтобы быть мамлюком! Ты только представь его на коне с саблей в руке!

Когда правитель Египта повернулся и пошел к выходу, купец, забегаая вперед и заглядывая ему в лицо, снова затараторил:

— Сколько я себя помню, дженаб, никогда я еще не приводил в Каир подобных ребят! Ну, скажи, разве же я говорю неправду?

Погруженный в свои невеселые мысли, Ибрагим-бей через силу улыбнулся ему, затем повернулся к кашифу Али и проговорил по-грузински:

— А этот хитрец и впрямь на этот раз привел прекрасных ребят!

Кашиф Али только кивнул в ответ.

Хотя Иегуда и не понял слов Ибрагим-бея, тем не менее он уже не сомневался, что выгодная сделка состоится.

* * *

Лагерь мамлюков шайха-ал-балада непосредственно примыкал к его обширным владениям. От них его отделяла высокая каменная стена, в которой были прорублены узкие ворота. Ибрагим-бей был еще кахией, когда это место привлекло его внимание. Тогда же он приобрел его, велел прорыть здесь три больших канала, посадить вдоль них финиковые пальмы, посеять арахис. Позже на этой территории он поселил своих личных рабов — мамлюков.

Ежедневно, поднявшись на заре, шайх-ал-балад спе-

шил в свой лагерь. В это время две тысячи воору-
женных мамлюков выходили из длинных казарм, выстроен-
ных из кирпича-сырца, чтобы приступить к ^{утренней} тренировке. Давно уже Ибрагим-бей взял за правило
лично присутствовать при этом, — он прекрасно пони-
мал, что за этими отважными воинами нужен глаз да
глаз.

Вождь каирских мамлюков тяжелым шагом до-
шел до финиковой аллеи. Его как всегда сопровождали
кашифы Али и Хасан, силахдар Али и черный Абдул-
ла. Ибрагим-бей был легко одет, и пропитанный запа-
хом моря северный ветерок приятно охлаждал его от-
крытую грудь. Из аллеи ему навстречу уже бежали ше-
стеро мужчин. Они пересекли небольшую, вымощенную
каменьями площадку, приблизились и почтительно при-
ветствовали его. Один из них выступил вперед.

— Ночь прошла спокойно, дженаб. Из лагеря ник-
то не выходил. Новичков мы внесли в списки. Скоро
посадим их на коней.

Шайх-ал-балад кивнул и двинулся дальше. Прежде
чем войти в финиковую аллею, он обратился к доклады-
вающему ему об обстановке в лагере мамлюку:

— Как спали новенькие, Мурад?

— Среди них оказалось трое плакс. Всю ночь про-
ревели, никому не дали покоя.

— Чего они хотят?

— Домой, к маме...

— Так прямо и говорят?

— Так и говорят.

Ибрагим-бей остановился.

— А сколько им лет, Мурад?

— Сопляки еще! По семь-восемь...

Лицо шайха-ал-балада стало печальным. Они мол-
ча дошли до огромного утоптанного поля. На нем на
большом расстоянии друг против друга уже выстроились
всадники. Их было около пятидесяти. Они с трудом
сдерживали своих горячих скакунов.

Ибрагим-бей обратился к одному из встречавших
его — к тому, что был пониже других:

— Подавай сигнал, Хуссейн!

Хуссейн выбежал на середину поля, выхватил из-
за пазухи алый платок и взмахнул им над головой.
Всадники тотчас же пустили своих нетерпеливых коней

и на бешеной скорости понеслись навстречу друг другу. Мгновение — и они выхватили из-под седел тонкие пальмовые пики, засверкавшие в лучах восходящего солнца. Держа их наперевес в правой руке, мамлюки левой рукой начали укорачивать поводья, наматывая их на руку. Обезумевшие кони грызли удила, на их мордах появилась белая пена.

Шайх-ал-балад напряженно наблюдал за происходящим на поле. Когда же легкие пальмовые пики просвистели в воздухе, он покосился на Хуссейна и сделал ему знак приблизиться. Тот подбежал и встал рядом, почтительно склонив голову.

— Скажи мне, Хуссейн, что это тебе взбрело в голову? Почему ты хочешь бросить свое дело? Ведь такого джигита, как ты, днем с огнем не сыщешь! Неужели тебе интереснее возиться с ватными чучелами? Я думаю, это джинны замутили твой разум. Гони ты эту нечисть! Ты тут мне нужен, маалим. Тут твое место!

Смущенный Хуссейн пожал плечами и попытался возразить:

— Я устал, дженаб. Не то уже у меня здоровье, не та сила. Я уже не прежний Хуссейн, пойми. Не могу я больше! А вот чучел я тебе наделаю, сколько пожелаешь. Хоть вдвое больше рабов накупи — всем хватит, чтобы научить их рубить саблей.

Ибрагим-бей только рукой махнул:

— Не спорь со мной больше! Останешься здесь. Я никуда тебя отсюда не отпущу!

Затем он еще раз оглядел всадников, быстрым шагом пересек поле и подошел к длинной и широкой дорожке, вдоль которой были расставлены одно за другим ватные чучела-манекены в человеческий рост, крепко прикрепленные к прочно вбитым в землю жердям. С них ручьями стекала вода. В начале дорожки стояла группа молодых мамлюков. Как только шайх-ал-балад приблизился к ним, они ударили своих скакунов по бокам, припали к их шеям и понеслись, как ветер. По сигналу они обнажили сабли, и направо и налево посыпались головы ватных манекенов.

Проследив за выполнением мамлюками этого упражнения, Ибрагим-бей пошел в другую сторону и вскоре оказался на краю другого большого поля. В отли-

чие от первого оно все было в ухабах и рытвинах. На сухой потрескавшейся земле там и сям были разбросаны кучи сухого хвороста. При появлении шайха-ал-балада рослый раб с пылающим факелом в руках выбежал на поле и быстро поджег их. Пламя красными змеями взвилось в небо. Тогда всадники сорвались с места и помчались по изрытому полю, то и дело заставляя своих коней перепрыгивать через многочисленные костры.

Шайх-ал-балада повернулся к Мураду:

— Ну а теперь отведи меня к твоим плаксам, что не давали вам ночью спать.

— Сейчас, дженаб? — в недоумении спросил мамлюк.

— Да, и немедленно.

— Тогда пошли, дженаб.

Они вышли на мощенную плитами дорогу и зашагали по ней к казармам. Когда впереди уже показались длинные кирпичные строения, их догнал Али.

— Я тебе не нужен, дженаб? Мне хотелось бы познакомиться с ребятами стрельбой из карабинов.

Ибрагим-бей, не останавливаясь, махнул рукой — ступай, мол, и кашиф Али повернул обратно. Выйдя на берег канала, шайх-ал-балада увидел купленных вчера рабов. Выстроившись в ряд, они стояли на краю большого поля и наблюдали за упражнениями мамлюков. Они тоже заметили его и начали перешептываться.

— А вы что, не собираетесь садиться на коней? — крикнул он им издали и замедлил шаг.

Один ответил басом:

— Пока нет, бабаа! Нам сказали, что три дня мы должны отдыхать.

— И правильно сказали, — кивнул Ибрагим-бей, подходя к юношам. — Эти три дня быстро пробегут, и вы таких коней получите, из-под копыт которых искры будут лететь.

— Тут у вас, бабаа, плохих коней нету! — серьезно сказал тот же парень.

— Вы только посмотрите на него! Ты-то что понимаешь в конях?

— А что я видел, кроме коней? Мы с отцом табуны перегоняли из Кабарды.

— Да ну? — шайх-ал-балада подошел к юноше и

хлопнул его по плечу. — Раз так, то я тебя на самого лучшего скакуна посажу, сынок.

Парень радостно заулыбался, а Ибрагим-бей оглядел остальных:

— Ну, как вам нравится это поле?

Мрачный черноволосый парень зло покосился на него и буркнул:

— А разве дома поля у нас хуже?

Ибрагим-бей нахмурился:

— Никто с тобой и не спорит, сынок. Для меня самого нет ничего дороже ветра, долетающего с наших родных полей! Ну скажи, чем тут плохо?

— Эх, дядя! — вздохнул парень и в сердцах топнул ногой.

Ибрагим-бей не нашелся, что ответить, и молча отошел. Вскоре его догнал Мурад.

— Дженаб, вон они, те плаксы, на берегу канала, у самой воды.

Шайх-ал-балад тоже уже заметил ребятшек. Он сошел с тропы и направился к ним.

Это были совсем еще дети. Глаза у них были красные, опухшие, на грязных щеках — разводы от недавно пролитых слез. Они недоверчиво смотрели на приближающегося к ним незнакомого человека.

— Вы что, рыбу ловить собрались? — крикнул он им еще издали с ласковой улыбкой.

Дети молчали, щурились и, казалось, вот-вот снова разревутся. У Ибрагим-бея сжалось сердце от жалости. Он присел перед ними на корточки и обнял разом всех троих.

— Да, неважное место выбрали вы для рыбалки. Ну ничего, отдохнете, окрепнете, и я тогда сам повезу вас в Гизу. Вот где много рыбы! Вместе порыбачим.

Один из ребят поднял на него голубые, полные слез глаза и доверчиво прошептал:

— Не надо, дядя! Мы домой хотим. Если кто-нибудь отведет нас домой, мой отец даст ему много, очень много баранов!

Лицо Ибрагим-бея стало печальным.

— Твой дом очень далеко отсюда, сынок. Если твой отец отыщет тебя, хорошо будет, а нет — что поделаешь?! Вы не должны ничего бояться. Я вас не обде-

лю ни лаской, ни заботой, ни хорошей едой. Оставайтесь у меня! Ведь и меня когда-то так же привели в эту страну... И тогда я был не старше тебя..

В голосе голубоглазого мальчика зазвенели слезы:
— Я к маме хочу!

Шайх-ал-балад ласково легонько шлепнул его по худенькому задку:

— А ну, не позорь меня! Вы ребята что надо, и ведите себя как подобает мужчинам, а не плаксивым девчонкам. Завтра я приду и посажу вас всех троих на белых коней и дам вам прокатиться по полю. Ведь вы, наверно, любите ездить верхом?

Двое нерешительно пожали плечами, а третий, все тот же голубоглазый, вытер кулачками слезы, и глаза его заблестели:

— Это правда? Ты разрешишь нам самим сесть на коней?

— Ведь я сказал вам, что вы ребята что надо. Почему бы вам не покататься на лошадях. Ну, а если вас кто-то будет катать, какое это будет геройство?

— Значит, ты придешь завтра?

— Обязательно. Я тут живу, рядом. Видишь вон ту стену?

— Вижу.

— Так вот, там мой дом.

Мальчик заулыбался, а Ибрагим-бей встал с корточек и зашагал к своему дворцу.

* * *

Когда по окончании великого тридцатидневного поста — орудж байрам — жизнь во дворце шайха-ал-балада в Аль-Азбакии вновь вошла в привычное русло, к Ибрагим-бею явился маалим Микаэль Фарх. Его сопровождал худощавый бледный молодой человек. В малом зале, куда их ввели после некоторого ожидания, он представил его хозяину:

— Дженаб, это и есть маалим Риск, которого я обещал привести к тебе при нашей последней встрече. Я разыскал его, и вот он перед тобой.

Ибрагим-бей был рассеян. Сегодня он впервые поел после тридцатидневного голода, и теперь ему больше всего на свете хотелось спать. Его сотрапезником

был Рахиб-Мухаммед-паша; они с ним столько съели, что с трудом поднялись с ковра. Когда паша наконец отбыл, Ибрагим-бей хотел уже идти в свою опочивальню, и тут вдруг является этот Микаэль Фарх из дамян-тийской таможни, да еще с каким-то Риском.

Шайх-ал-балад едва сдерживал раздражение. Он тяжело вздохнул и оглядел нескладного молодого человека с ног до головы.

— Хорошо ли ты пишешь, маалим?

— Дженаб, Библия переписана мною не менее ста раз, — ответил тот с улыбкой. — Иерусалимский патриарх хранит Библию, напечатанную в Риме, в сундуке, а на столе его постоянно лежит переписанная мною.

Ибрагим-бей оживился.

— А Коран ты когда-нибудь переписывал?

— Я истинный христианин, дженаб, однако три раза по заказу переписывал и Коран. Один экземпляр я преподнес паше Шама.

— Зачем тебе было ходить так далеко? Ты живешь в Каире, и разве каирский паша и шайх-ал-балад не ближе тебе?

— Разумеется, дженаб, но ни каирский паша, ни ты не просили меня переписать Коран. К сожалению, до сегодняшнего дня мне не представлялось счастливой случая видеть тебя столь близко, а тем более беседовать с тобой. Сегодня же я, недостойный, счастлив, что удостоился такой чести.

Ибрагим-бей улыбнулся.

— Маалим, а что ты говоришь своему Богу, когда трудишься над переписыванием Корана?

— Дженаб, Бог един. Вот только пророков он послал нам разных. Всевышнего не должно оскорблять то, что одни из нас возносят молитвы из церкви, другие из мечети или же из синагоги.

— Нет, маалим, — покачал головой Ибрагим-бей. — Увы, не так-то просто обстоит тут дело. Почему же тогда мы преследуем и уничтожаем друг друга? Я должен молиться только в мечети, другие — в другом месте. — Он умолк, некоторое время внимательно смотрел на своего собеседника, затем продолжил: — Мне нужен верный, умный человек, маалим. Если ты уве-

рен в себе, оставайся при мне. Дела для тебя найдется много. А там, где много дела, там и пользы немало.

Маалим Риск просиял и почтительно склонил голову.

34135340
3034110133

* * *

В средних числах мая уровень воды в Ниле начал стремительно падать, и вскоре между Гизой и Булаком эта могучая река совсем обмелела и превратилась в едва заметный ручеек. На поверхности земли не осталось ни крошки плодородного красного ила, ежегодно так обильно приносимого половодьем. В каналах и водохранилищах иссякла благодатная нильская вода, которую в качестве питьевой вывозили даже в Турцию. Населению приходилось пользоваться соленой водой из колодцев. Раскаленная зноем земля потрескалась. Воздух в Каире становился с каждым днем все более смрадным, кучи же нечистот на его улицах продолжали увеличиваться.

Эпидемия чумы вспыхнула в Булаке. Причинив там немало бед, она перекинулась в западную часть города, в Моск. Тут тоже она не пощадила никого — ни прихожан греческой церкви святого Николая, ни паству александрийского патриарха и армянского тертера. Уплатили ей свою долю дани и евреи. Явившись на узкую грязную улочку Хар-Тель-Ихут, она первым поразила раввина Мордухая. Вслед за несчастным Мордухаем в горячую землю легли еще двадцать его соплеменников. Отсюда чума продолжила шествие в Аль-Азбакию и вскоре уже вершила свое черное дело в лагере мамлюков Абд Ар-Рахмана.

Создавая Египет, Бог щедро одарил его своей благодатью, не забыв, однако, и о бедах, и самыми страшными из них были засуха и ее неизменная спутница — чума. Из года в год взымали они дань с египетского народа, который привык к этому, как к восходу солнца или его закату...

Не обходила своим вниманием всемогущая чума и угодного Аллаху хванткара. Из Египта она, как правило, устремлялась в блистательную Порту. Среди бесчисленных податей, которые страна Нила ежегодно платила Османской империи еще со времен Селима

Первого, черная чума была единственной, отправляемой Каиром в Стамбул всегда своевременно и с превеликой радостью...

Когда наступил июль и чума переместилась в центральную Анатолию, в Гизе появился первый ибис. Он летел над Нилом со стороны Мемфиса, расправив во весь размах крылья. Весь Каир ожил и возликовал — появление ибиса было безошибочным предзнаменованием пробуждения священной реки. Семнадцатого июля, когда полуденное солнце нещадно жгло исстрадавшуюся землю, Нил вдруг дрогнул, потихоньку возрождаясь; уровень воды в нем начал постепенно подниматься. И вот он уже катит крупные волны; еще немного и они с шумом ворвутся в иссохшие прибрежные заросли.

Цвет нильской воды мгновенно изменился — стал темно-зеленым, а воздух наполнился нестерпимым смрадом. Зеленая вода подступила к берегам, и тот, кто отошел от заведенного правила и не запасся заблаговременно пресной питьевой водой, был обречен на утоление жажды в течение четырех дней соленой колодезной.

А вечером на улицах Каира появился верхом на крепком осле верзила-глашатай, который громко выкрикивал:

— Жители Каира! Слушайте и радуйтесь! Аллах повелел Нилу разлиться, затопить берега и поля. Сегодня Нил поднялся на одну пядь и три пальца. Радуйтесь, люди!

На четвертый день цвет Нила опять изменился. Теперь он стал кроваво-красным, а когда солнце склонялось к западу и окрашивало в красный цвет Ливийские холмы, трудно было определить, где кончается вода, и где начинается небо.

Глашатай каждый вечер проезжал на своем осле по улицам города. У него был такой мощный голос, что его выкрики на Карамайдане отдавались в пирамидах Гизы.

— Одна пядь и четыре пальца, пядь и один палец, — кричал глашатай.

Так продолжалось до конца августа. Когда же истек август, и вода в Ниле поднялась на семнадцать пядей, пришло время открывать шлюзы. В Египте это

считалось главным событием года и отмечалось оно соответственно.

Как сказал один мудрый копт: «Ложе девственников не было бы столь сладостным, не предшествуй ему свадебный ритуал»...

В тот день глашатай объехал весь город еще до восхода солнца, и голос его звучал громче обычного:

— Выходите, люди! Сегодня откроют шлюзы!

Распахивались двери домов, и горожане выбегали на улицы. Весь Каир устремился к главному каналу, через который воды Нила должны были разойтись по всем каналам города.

Вдоль Нила, перед главным каналом, стояло более тысячи лодок и барж, украшенных цветами и яркими лоскутами. Все они были полны людей. Не имеющие возможности встретить долгожданный праздник на воде — в основном это была чернь — огромной толпой теснились на берегах канала. За их спинами простирались необозримые заливные поля, с которых тянуло зловонным запахом падали и всяких нечистот, скопившихся на них за месяцы засухи, однако люди терпеливо не замечали этого и стояли, боясь пошевелиться. Когда вдали появился Рахиб-Мухаммед-паша со своей свитой, толпа всколыхнулась и повернулась лицом к процессии. Впереди на белых конях скакали паша и шайх-ал-балад, а на некотором расстоянии от них следовали санджак-беги. Над приближающейся кавалькадой тучей стояла пыль.

Не доезжая до канала, Мухаммед-паша и шайх-ал-балад осадили своих скакунов. Чауши же, напротив, не сбавляя скорости, проскакали вперед и стали расталкивать столпившихся на берегу милетцев. Между тем Ибрагим-бей и Мухаммед-паша спешили, бросили поводья конюхам и не спеша двинулись к каналу. Оба они были в праздничных одеждах. На паше был длинный златотканый халат, поверх которого был наброшен столь же дорогой плащ, на голове красовалась огромная чалма, украшенная бриллиантами.

Паша медленно прошел сквозь волнующуюся, как море, толпу к самой воде. Неподалеку от него расположился и шайх-ал-балад в окружении санджак-бегов. Позади них стали джанизары, чауши, магрибы.

Мухаммед-паша оглядел замусоренный главный ка-

нал. В загнивших лужах валялось множество разлагающейся рыбы и пресмыкающихся. Пашу замутило, и он смачно сплюнул себе под ноги. С трудом преодолевая дурноту, он устремил невидящий взор на четырех здоровенных феллахов, в нетерпеливом ожидании замерших у шлюзов. Наступила неловкая пауза. Наконец, шайх-ал-балад подошел поближе к паше и шепнул ему:

— Пора, дженаб!.. Подай им знак, и они откроют шлюзы.

Рахиб-Мухаммед-паша слабо улыбнулся, с усилием поднял правую руку и неожиданно энергично махнул ею.

И тотчас же феллахи бросились к вороту, однако, как они ни наваливались на него, он не поддавался. Дело в том, что приводимый им в движение шлюз за время засухи глубоко вмуровался в пересохшее дно канала. Феллахи обливались потом, натужно кричали.. Наконец ворот заскрежетал, и шлюзы медленно поползли вверх. В образовавшуюся щель тотчас большой красной змеей проникла нильская вода и, извиваясь между кучами мусора, двинулась по каналу. Она стремительно набирала силу и вскоре заполнила все его русло до краев.

Воодушевленная толпа восторженным ревом приветствовала хлынувший в главный канал Нил. Один из слуг подал паше внушительный кошель. Тот развязал его, запустил в него руку и в следующее мгновение, размахнувшись, швырнул в канал полную горсть серебряных монет. Голые мальчишки, протиснувшись между потными конями чаушей, стоящих у самой воды, один за другим попрыгали в мутные красные волны. Не успели они вынырнуть, как Мухаммед-паша вновь взмахнул рукой, и дождь блестящих монет вновь посыпался в воду. Все новые и новые маленькие ныряльщики, взметая фонтаны брызг, бросались в бурлящие волны.

Когда паша опустошил один кошель, ему тут же подали другой, такой же. Он еще ближе подошел к воде и стал его развязывать. Тем временем огромная флотилия разукрашенных лодок и барж двинулась по Нилу к главному каналу. Они шли сплошным потоком, тесно прижатые бортами друг к другу. Впереди плыла белая ладья Рахиб-Мухаммеда-паши. Слева и справа над ней развевались красные с белой звездой и полу-

месяцем флаги блистательной Порты. Еще один такой же огромный флаг был укреплен на грот-мачте. Ладья причалила к берегу, матросы ловко спустили трап, и Рахиб-Мухаммед-паша взошел на ее палубу. В это время к берегу причалила еще одна ладья. На нее поднялся шайх-ал-балад в сопровождении своих мамлюков. Стоящие на палубе зурначи надули щеки, барабанщики ударили в барабаны, застонали тари.

Толпа устремилась по берегу за флотилией. Мухаммед-паша по-прежнему бросал в мутную красноватую воду монеты, а мальчишки все ныряли и ныряли за ними. Один из них, вынырнув, неожиданно ударился головой о корму ладьи паши. Он беспомощно забарахтался и исчез под водой. Рядом с ним было трое его товарищей, однако ни один из них и не подумал прийти ему на помощь.

Наблюдавший за этой сценой молодой мамлюк из свиты шайха-ал-балада с криком «Вай, дэда!»* сорвал с себя халат и птицей перелетел через борт ладьи. Ибрагим-бей что-то крикнул ему вслед, но он уже ничего не слышал. Юноша нырнул в том самом месте, где за секунду до этого исчез несчастный ребенок. Вскоре он появился на поверхности с мальчиком на руках. За это время ладья шайха-ал-балада успела уйти вперед, и мамлюк поплыл со своей ношей к лодке азабов. Реакция их была неожиданной, — заметив его приближение, они начали с ожесточением бросать в него глиняные горшки, кокосы, бананы. Один из них даже попытался ударить его копьем.

— Брось его! Аллах пожелал его душу. Он — избраннык Аллаха! — кричали они.

Но молодой мамлюк и не думал бросать спасенного им мальчика. Толкая его перед собой, он поплыл к другой лодке. Но и на этом суденышке поднялся страшный переполох. Оттуда в пловца полетело три глиняных горшка, наполненных до краев кроваво-красной нильской водой. От одного из них мамлюк ловко увернулся, однако два других разбились о его плечи, исцарапав их в кровь. Находящиеся в лодке выхватили сабли, и жизнь незадачливого юноши кончилась бы плачевно, не прояви гребцы Ибрагим-бея расторопности. Они быст-

* Вай, дэда — Ой, мама (груз.).

ро дали задний ход, дотянулись до своего товарища, не без труда вырвали из его рук спасенного им ребенка, бросили обратно в канал, а его самого, как мешок, втащили в ладью и прижали к палубе. Молодой мамлюк отчаянно сопротивлялся и рвался обратно к борту. Лишь тогда, когда к нему подошел сам шайх-ал-балад и, впишись в него острым взглядом, сурово бросил: «Молчать, безумец!» — юноша утих.

Кроваво-красные воды Нила приняли избранную Аллахом жертву. Вновь грянула музыка. В канал полетели венки из цветов. В толпе, продолжающей с криками двигаться вдоль берега, несли большие, великолепно выделанные чучела ибисов, яркие венки, гирлянды. Люди размахивали ими над головами и с криками и пением бежали к Каиру. Затем, когда вода из главного канала разошлась по другим каналам и впереди появилась западная стена Каира, толпа ринулась к воротам Баб-эль-Лук и ворвалась в город. А получивший благословение Аллаха Нил, как кровь по артериям, разливался по мелким каналам и канавкам, заполняя животельной своей влагой уродливые раны измученной земли, и все окрест преобразалось на глазах. Воздух мгновенно пропитался пьянящим дыханием Нила, ядовитое желтое марево, столь долго стоявшее удушливыми клубами над городом, таяло и наконец вовсе рассеялось.

Весь Каир был на ногах. Украшенные яркими гирляндами из цветов степенные верблюды важно вышагивали по узким улочкам. Заслышав звон их бубенцов, горожане выскакивали из своих лачуг и бежали к центру. На площади Ар-Румаил яблоку негде было упасть. Джанизары и чауши оттесняли чернь в сторону Мука-тама. Воды священного Нила, как по мановению волшебной палочки, очистили страдавший за месяцы засухи грязный, зловонный Каир. Омытый ими, он молодец и хорошел с каждой минутой.

Ладьи паши и шайха-ал-балада вошли в главный канал города и причалили к берегу. Этот канал, прямой, как натянутая струна, тянулся с юга на север и делил Каир на две части: восточную — Аль-Азбакию и западную — Моск.

Конюхи подвели к сошедшим на берег Ибрагим-бею и паше гарцующих коней. Шайх-ал-балад в сопро-

вождении санджак-бегов тут же отправился в свой дворец.

В тот день среди санджак-бегов не было видно Ибрагима-эль-Черкеза. Он был не в духе и с утра не выходил из зала заседаний своего дворца. Он сидел, скрестив ноги, на пестром ковре и курил фарфоровый кальян с длинной ручкой. Перед ним стояла Зульфия — воистину явленный Аллахом во плоти джинн. Ей было не больше пятидесяти, но выглядела она гораздо старше. Тонкие кривые ноги с трудом удерживали ее квадратное тело. На длинном лице уродливо выпирали скулы, меж дряблых желтых щек помещалось некое подобие носа — едва заметный вздернутый вверх бугорок как бы неживой плоти с двумя маленькими дырочками. Стоило ей завидеть кого-то чужого, она прикрывала лицо согнутой в локте правой рукой и, как змея, неотрывно следила за ним своими холодными, узкими глазами.

Ибрагим-эль-Черкез отставил кальян и взглянул на Зульфию:

— Если все, что ты говорила мне, твоя фантазия — я убью тебя!

— Что ты, дженаб! Эти глаза все видели, эти уши все слышали.

— Может, ты скажешь мне наконец, кто она?

— Зачем мне было тащиться в твой золотой дворец, чтобы поведать тебе о ком-то неизвестном?! Барра изменяет тебе!

— О-о, — проревел Ибрагим-эль-Черкез и с такой силой хватил кулаком по полу, что кальян перевернулся, и тлеющие угольки рассыпались по ковру.

— Да, дженаб, Барра — потаскуха. Она ложится с выкормышем шайха-ал-балада, — прогнусавила Зульфия и, как ни в чем не бывало, затоптала босыми ступнями рассыпанные угольки. — Она таскается к силахдару Али.

— Зульфия, — взревел Ибрагим-эль-Черкез, — если это окажется неправдой, я вот этими руками удавлю тебя.

— Пусть будет по-твоему, дженаб.

Лицо бега налилось кровью, и он снова поднял на старуху свирепый взгляд.

— Скажи мне, кто из моих мамлюков предал меня?

— Скажу, почему не сказать, — Зульфия подпол-

зла к хозяину поближе и прошипела в самое ухо: Это большеголовый Мустафа, тот, которого продал тебе в прошлом году купец Иегуда. Второй — Хасан, тот, которому копье угодило в зад, жаль, что не в бок — издох бы! Третий — длинный Хуссейн. Его ты тоже купил у Иегуды. Оказывается, он побратим силахдара Али... В Каире, пожалуй, не найдешь мамлюка, который не был бы побратимом мамлюка из другого лагеря!

Ибрагим-эль-Черкез был вне себя от бешенства. Он вскочил и расшвырял ногами все подушки, валявшиеся на ковре.

— Сегодня же вечером собственноручно всыплю яд в чай Барры. Столько подсыплю, что не успеет она поднести пиалу к губам, как душа покинет ее грешное тело.

— А что будет с мамлюками?

— Прикажу связать их и бросить в пустыне. Пусть гиены разорвут их в клочья.

Ярость душила Ибрагима-эль-Черкеза. Он закашлялся.

— Нет, с Мустафой, Хасаном и Хуссейном я расправлюсь немедленно. Собаки, предавшие своего хозяина, они получают сполна все, что заслужили! А вот с Баррой, пожалуй, подождем. Яда ей будет мало! Она заслужила большего! Ступай, ступай, Зульфия!

Ибрагим-бей подошел к окну и плотно закрыл его. В зале сразу стало тихо. Праздничный шум больше не проникал сюда.

Окончание следует

Перевод Киры ВОЛЬФЕНЗОН



ТЕЙМУРАЗ I
(1589—1663)

Спор вина с устами

1

Вино промолвило: «Уста, в восторге небывалом
Мне так и хочется сравнить вас с бадахшанским лалом.
Да, вы пленительней, чем я, но мне дано бокалом
Веселье в сердце пробуждать, печальном и усталом».

2

На то заметили уста: «Чем хвастаться нашло!
Вмиг разбиваем мы сердца, как хрупкое стекло.
Украсить кубок можем твой и озарить чело.
Наш цвет и ярок и манящ рубинам всем назло».

3

Вино воскликнуло в ответ: «Вы дивны в самом деле!
Оставив розу, соловей вам посвящает трели.
Но я пьяню, и всяк поет, как не певал доселе.
Поет и пьет меня вздох, дрожь ощущая в теле».

4

Уста ответили вину: «Да ты и впрямь бахвал.
Принудить к пению легко того, кто хмель глотал.
А мы и трезвого сразим мгновенно наповал.
На нас он взглянет — и замрет, и выронит бокал».

5

Но усмехнулося вино: «Нет, не осудят люди,
Когда я струйкой зазвеню в серебряном сосуде.
О каждой капельке моей мечтают, как о чуде.
Нектаром нежным напою возжаждавшие груди».

6

«Ответ хорош, — слетело с уст, — и честен в этот раз.
 Напиток алый в серебре от жажды многих спас.
 Хотя и впрямь целебен он, да где ему до нас!
 Мы о достоинствах своих расскажем без прикрас.

7

Да, вместе смотрятся баgreц и белизна бокала.
 Но совершеннее союз жемчужины и лала.
 Лишь стоит улыбнуться нам — и, как не раз бывало,
 Любой из смертных ощутит любви безумной жало».

Ты чаруешь красотою

1

Ты чаруешь красотою, кипарисовою статью,
 Но красу твою нам, смертным, не принять в свои
 объятья.
 Как миджнур, уйду в пустыню, на себе порвавши
 платье,
 И в пещере Таризла стану горько горевать я.

2

По ее вине светила лишь подобие светил.
 Словно меч, ее ресницы выпускают кровь из жил.
 А в глазах огонь так жарок, что меня испепелил!
 Прахом все пошло отныне, изменить судьбу нет сил.

3

Яхонт губ коснулся чаши, где вино хмельное рдело.
 Увидав, что рот пунцовой, влага с горя почернела.
 Кровь моя — вино, и кубок пьет ее глотками смело.
 Хмель нас радует, как слово тех, чья мудрость без
 предела.

4

Сели мы вокруг кувшина — ну-ка, что он там припас?
 Угостил он нас на славу — и сердца пустились в пляс.
 А кувшин хохочет: «Пейте, пейте кровь мою сто раз,
 Чтобы слабый стал героем, чтоб гремел веселья глас!»

5

Я тебе не вижу ровню, ты явилась к нам из рая,
 Как стремительное пламя, чьим огнем дышу, стгорая.

От твоих ресниц не скрыться, болью полон я до края.
Буду маяться миджнуром, коль судьба моя такая.

3411353411
303411010333

6

Вспомни всех тебя любивших, чьи сердца кровоточат.
Счастлив тот, кто служит правде, нечестивый — канет
в ад.

Сотни раз копьем разлуки я пронзен до самых пят.
Вновь зажги костер любовный, о бредущий наугад!

7

Преподнес тебе я сердце, но ты ждешь еще чего-то.
Забирай впридачу душу и лишай меня оплота!

Не возьмешь — с ней в ад низринусь, где мученьям
нету счета.

Кровь мою глотаешь жадно, заманив в свои тенета.

8

Перламутр, как страж суровый, охраняет дивный лал.
Сердце некий перекупщик за бесценок ей отдал.

Был бы жив, рыдал бы кровью, да пронзил меня
кинжал.

Без лучей твоих, о солнце, радости цветок увял.

9

Твой хрусталь — обитель розы и блестящего агата.

Не лицо — цветник прекрасный, где все негою объято.

Подступил к нему — и вскрикнул: в нем шипы острее
булата.

Лишь творцу срывать цветы здесь и пьянеть от
аромата.

10

Сердце, ты раздуло пламя, и дотла сгорел я в нем.

А теперь к тебе крадется страсть с отточенным
копьем.

Ты безумствуешь так яро, ты, прославшее кремнем,
Ибо образ небывалый опалил тебя огнем.

11

Разум мой забрав и сердце, упорхнула ты, как птица.

Мне, покинутому, горе: лишь тоска в груди теснится.

Не взгляну на сад без розы, хоть он краше, чем
денница.
Я воды просил, пылая, не дала ты мне напиться.

12

Соловьи запели пылко, славя розы юной цвет.
И к цветку рванулось сердце, несмотря на мой запрет.
Сняв с себя кафтан атласный, как миджнур в тряпье
одет,
Я мечусь, и всюду вижу лик, что ярче всех планет.

13

Роза быстро увядает, коль на небе нет светила.
Я ревмя ревел, но солнце слез поток не осушило.
Как со мною ты жестока — бросила в огонь горнила.
Да придут печаль и горе — мне теперь ничто не мило!

Перевод Георгия АШКИНАДЗЕ



Рассказы

ДВА СЫНА

— Тридцать пять и по рукам!
— Я же сказал — сорок.

— И тридцати не стоит.

— Ну, не стоит, так и говорить не о чем.

И Тевдорэ повернул лошадь. Барышник в пятый раз схватился за узду и со злостью бросил духанщину:

— Что ты заупрямился, Закро! Сам говорил, что за этого коня сорок червонцев не пожалеешь, а теперь-то что стряслось?

— Черт с тобой, слезай!

Тевдорэ сначала ссадил сына, сидевшего за ним на крупе, потом слез сам и протянул руку Закро:

— Не пожалеешь! Как за ребенком ухаживал... другому бы не отдал, а ты, видно, знаешь толк в лошадях.

Белоногого жеребца привязали к столбу, и все трое вошли в духан. А сын Тевдорэ, маленький Шио, остается с конем.

— Теперь эта лошадь наша? — спрашивает его Зураб, сын духанщика.

— Ваша, — вздыхает Шио.

— Какой конь! Вырасту, моим станет.

У Шио по лицу текут слезы. Зураб же все ходит вокруг жеребца, который длинным хвостом отгоняет

мух и нетерпеливо переступает будто бы обутыми в беле-
лые носки ногами.

А в духане тем временем составляли купчую и опустошали кувшин за кувшином. Полуденное солнце было в зените, когда сделка завершилась.

Тевдорэ Дидзворели положил за пазуху сорок червонцев.

Барышник скомкал десятку и ворча направился в деревню.

— Ну оставайся с миром, ни о чем не пожалеешь, только береги коня, — говорит бывший хозяин духанщику. — Как за ребенком ухаживал... — повторяет он.

— Будь здоров, да поможет тебе Бог, не тужи, поберегу.

Тевдорэ обнимает жеребца за шею, гладит по голове, что-то шепчет, будто прощения просит, прощается и уводит за собой плачущего сына.

Духанщик Закро сверлит глазами уходящего, одной рукой щиплет ус и мысленно с кем-то или с чем-то борется. Внезапно он повернулся, потрянул головой. Нельзя было понять, не то утвердился он в какой-то мысли, не то отогнал ее:

— Женщина!

Из темной двери показалась Нато — такая же черная, как опаленная дверь, некрасивая, сотканная из костей и сухожилий, и такая же высокая, как муж.

— Может, запоздаю, — буркнул в стенку Закро, снимая кинжал и револьвер. — За лошадью присмотри. И за духаном глаз держи.

Женщина не ответила, отвернувшись. Закро перевалился через плетень, как медведь, и скрылся в винограднике.

Духанщик переплатил Тевдорэ, ошибся в счете, три червонца переплатил. А эти червонцы не на дороге же нашел! В летах уже, а с рассвета до глубокой ночи на ногах: болтает, подметает, торгует, готовит и убирает. Когда плакать хочется — смеется, когда весело — плачет, лишь бы гостям угодить. Порой, чтоб двадцать копеек заработать, покупателя чтоб не упустить, два часа балагурит или вертится, как волчок.

Копейка на копейку ложится, за рублем — рубль бежит, червонец к червонцу тянется, а жизнь идет, уже почти прошла. Тридцать лет жизни угробил он в этом

духане, сначала на побегушках был, потом приказчиком, потом в долю вошел.

Сыну нужно помочь, если отец не подготовит почву, если хотя бы тысячу червонцев не отложит, его Зурабу не выбиться в люди, сотрет его жизнь... Словом, как ни смотри...

Как ни смотри... Три червонца на дороге не валяются. Чтоб заработать их, целых три месяца работал, словом, как ни смотри...

Вот и паром. И тьма сгущается. Вот здесь, около куста можно залечь и подождать, Тевдорэ еще не прошел... И отдохнуть успеет и три червонца вернет.

Вот и Тевдорэ шагает. Обломала его жизнь — худой, сгорбленный, голова как снегом запорошена.

И сын за ним. Смотрит под ноги, хворостиной листья с кустов сбивает. Только сейчас пригляделся Закро: он в русской шапке и пестрой рубахе, на правой щеке родимое пятно, величиной с грош.

— Тевдорэ!

Оба застыли — и отец, и сын.

— Ты, Закро? Ты как здесь очутился?

— Поди-ка, садись рядом.

— Тропой шел, наверное?

— Да, тропой, иди, не бойся.

Застыл Тевдорэ на дороге и смотрит недоверчиво. Злой человек Закро, плохая слава идет о нем. Очень плохая!

— Ну, иди сюда, не бойся. Не волк же я, в самом деле!

— Не волк, конечно, но... но, что привело тебя сюда в такой час?

— А то, что... переплатил я, на три червонца больше дал.

— Что ты говоришь! Мы же эти проклятые деньги три раза считали.

— Все равно ошибся. А если не так, то разве деньги не у тебя?

— У меня, конечно!.. Пересчитаем... Чего уж проще...

Свернул с дороги, сел рядом с Закро и полез за пазуху.

— На, пересчитай... Неужто, обижу я тебя из-за этого. Вот они... Будь я проклят, если из-за трех червон-

цев буду руки марать, — Тевдорэ вытаскивает из-за пазухи пестрый платок.

— Считай.

— Прежде ты посчитай, — придушенным голосом говорит Закро и встает. Тевдорэ сидит, наклонив голову.

Пестрый платок на траве, тянет из кулака по одной бумажке и хриплым голосом считает.

— Это раз... это два... три... четыре.

Сын стоит перед ним и смотрит на деньги, отец кидает бумажку на бумажку и продолжает:

— Это уже пять... шесть...

— Начни сначала... — говорит Закро и еще на шаг отходит назад.

— Ну, смотри же... это раз... два... три... Еще раз! Два! Три!

Широкий клинок три раза сверкнул и опустился на склоненную шею Тевдорэ.

Мальчик мгновенно скатился по склону и скользнул в кусты, Тевдорэ сначала кивнул головой, как бы соглашаясь с ним, затем повалился на бок и задержался.

Спустя минуту Закро, как запряженная в сани лошадь, волочил за ноги мужчину. Закинул его в кусты и побежал за мальчиком. Несется за ним, как волк за зайцем, жжет его мысль: погубит... Если уйдет, погубит!

* * *

Нато и Зураб напоили лошадь водой, повели по двору, завели в конюшню и насыпали ячмень. Потом мать говорит сыну:

— Я к соседям, сынок, пригляди за домом. От духана не отходи.

Спорится дело у Зураба: двор подметает, убирает и покупателей отпускает. Одному табак продал, второму водку подал, третьему соль отвесил. Потом присел на бревно и проводил взглядом деревенское стадо.

Словно из-под земли вырос какой-то мужчина:

— Здравствуй, малый!

— Благослови тебя Бог!

— Ты чей?



- Я сын духанщика Закро.
- А сам он где?
- Не знаю, может, в винограднике.
- А мама?
- К соседям пошла.
- Как зовут тебя? — и присел рядом.
- Зураб.
- Зураб. Зураб... хорошее имя, нравится мне.
- Что тебе еще нравится? — усмехнулся мальчик.
- Ишь какой умный...
- Мне моего ума хватает, а другим я не советчик.
- Оглядел и добавил: — Ты не здешний, наверное.
- Откуда тебе знать?
- Не захаживал ты прежде к нам. Откуда ты?
- Сам не знаю, — мужчина погладил мальчика по курчавой голове. — Дашь что-нибудь выпить?
- Почему бы и нет.

Незнакомец опустошал стакан за стаканом. За одним кувшином последовал второй. Пил, закусывая хлебом и сыром, и все расспрашивал: как живут, чем занимаются, какой урожай был и как торговля идет?

Мальчик поначалу чуждался незнакомца, на вопросы почти не отвечал. Чужак, зачем ему знать о здешних делах? Кто знает, откуда этот человек, или что нужно ему в Хутичала, или зачем задает столько вопросов? Потом спросил:

- Ты, случаем, не виноторговец?
- Да, виноторговец, — улыбнулся посетитель. — Вино пришел покупать.

- Какое вино, виноград еще не поспел.
- Мне старое вино нужно. У вас осталось?
- Есть еще немного...

Незнакомец достал пачку денег, протянул Зурабу тридцатку и сказал:

- Бери, что причитается — вычти. Остальное оставь себе.

- Себе? — мальчик разинул рот.

— Ну да... Потрать как хочешь. Купи книгу, рубашку. — При этих словах незнакомец широко зевнул, завалился на тахту и сонным голосом добавил: — Устал я очень... Посплю немного. Как отец или мать воротятся, разбуди.

Отвернулся к стене и через три минуты захрапел.

Зураб скользнул взглядом по спине незнакомца, сложил деньги и положил в карман.

— Посмотри, мама, что подарил мне этот человек, — сказал Зураб вернувшейся матери и показал на спящего, потом рассказал, как все было.

— Что сказал, кто он такой? — шепотом спросила мать.

— Виноторговец. Вино пришел покупать. Сказал разбудить, когда отец с матерью вернутся.

— Пусть спит. Какое ко мне дело у какого-то виноторговца. — Она внимательно посмотрела на сына. — Что-то ты утомился, сынок. Не заболел ли? — Пощупала лоб. Горячий, и щеки горят, глаза пеленой подернуты.

— Опять горячка у тебя, иди ложись. Я скоро приду.

Зураб, покачиваясь, вышел. Нато застыла на месте и взглядом уперлась в спину незнакомца. Что-то мучило ее, какие-то неясные мысли терзали ее душу. В эту минуту она поразительно напоминала своего мужа, который недавно так же глазами сверлил спину Тевдорэ, только вместо усов женщина в раздумье терла широкий подбородок и шуршала зажатой в другой руке тридцаткой, взятой у сына на «новую рубашку и книгу».

* * *

Как заяц, мчится Шио, как гончая, преследует его духанщик. Сначала редкий лес пробежали, в кустарнике растворились, промчались через распаханый виноградник...

Дважды сокращал расстояние духанщик, но оба раза упустил мальчика: в первый раз он отскочил в сторону и скользнул в кусты, во второй же — скатился в овраг.

Не может выстрелить Закро. Ум ему еще не отшибло: выстрел в двух-трех деревнях услышат. Нет, зарежет он его, или задушит.

В руке блестит кинжал, сзади развеваются полы чохи, а впереди сверкают пятки мальчика. Бежит Шио и лишь иногда оборачивается на бегу, а когда сверкнет где-то поблизости кинжал, вскрикнет, как пойман-

ная лисица, и бежит быстрее. Или же выкрикнет что-то, но это крик, больше похожий на стон... Тьма сгущается. Две тени видны в темноте. Два призрака мчатся к Хутичала. Вот и околица. Вот и виноградник Закро. Вот и его духан. Во дворе горит фонарь и тень ребенка, как ночная бабочка, летит на огонь...

Быстрее, Закро, быстрее, не то пропадешь. Если тень минует духан, добежит до деревни или завернет к соседям, этот кинжал тебе самому пригодится — горло себе перерезать.

Ну, прибавь шагу, поднатужься. Быстрее, на волоске ведь висишь, и ты, и твоя семья.

* * *

— Мать, помоги!

— Что, сынок? Кто ты, что случилось?

— Спаси, мама... Убивают... Бегут за мной. — И запыхавшийся чужой ребенок дрожащими руками обхватил чужую женщину, задыхается и тянет за юбку. — Убить меня хотят... Спрячь... Быстрее! Быстрее!

Женщина бежит, открывает дверь за прилавком и толкает мальчика в темноту:

— Прячься... Направо иди. Не бойся. Хлев там. — Прикрывает дверь и возвращается в духан.

Шно прислонился к стене. Дышит, как загнанная собака. Всматривается в темноту, старается хоть что-либо разглядеть.

Едва тлеет очаг, там же стоит тахта, за ней створчатая дверь, стало быть, за ней хлев. Там, в хлеву, в темноте фыркает лошадь. Рядом жует жвачку буйвол. Дальше в углу, под самой крышей, дыра и в ней видно, как мерцает в небе одинокая звезда.

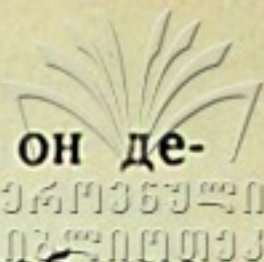
* * *

— Погиб я! — захлебываясь, шепчет духанщик.

— Что случилось? — так же шепотом спрашивает жена, рукой прикрывает мужу рот и показывает глазами на спящего.

Закро задыхается. Еле стоит на ногах. В руке кинжал, а лицо бледнее стали.

— Что стряслось? Иди сюда.



Схватила за руку и вывела из духана.

— Тот мальчик... маленький мальчик, куда он делся?

— Мальчик? — И тотчас догадалась. — О, чтоб мне ослепнуть! Так что ж случилось?

— Я убил человека.

— Человека? Какого человека? Как? Где?

— Тевдорэ Дидзворели...

— Горе мне, несчастные мы! Погибли мы теперь!

— Погибли, если мальчишка ушел... Он бежал в нашу сторону... Спрятался, наверное, где-то здесь... Только он все и видел.

Тишина упала — режущая и грозная, как клинок. Только стук своего сердца и дыхание мужа слышит Нато.

В ушах свист.

— Вроде где-то здесь спрятался. Дом я обежал, но нигде не нашел. — В голосе Закро — обреченность.

— Нигде не нашел... Погиб... Погибли!

Снова замолчал. Ослаб, сломился, руки повисли плетью, безжизненные пальцы вот-вот выпустят кинжал. И тут в уши влился шепот жены:

— Иди, кончай... Там он... В хлеву!

— В хлеву? Правда?

И только заметил, что стояли они как раз у двери в хлев.

— Тсс... Осторожно! Не разбуди того человека. — Еле донесся голос.

— Да, нельзя его будить, не то... Но мальчик может закричать, разбудит его и тогда...

— Кто он, откуда его нелегкая принесла? — спрашивает Закро.

— Не знаю. Недавно пришел, меня дома не было... Выпил два кувшина вина и подарил Зурабу три червонца...

— Три? Три червонца?

— Да, три, сказал, что он виноторговец. Не Сакул, случаем?

— Нет. Сакул маленький мужчина, а этот высокий очень.

Мельком взглянула. Мальчику три червонца подарил, видно...

«Видно, большие деньги у него», — одновременно

мелькнуло у обоих. «Что и говорить, наверное, много... Виноторговец... Первый раз в этих краях, не то у крестного или знакомых бы остановился. Да, нехорошо он здесь объявился, что... Или он нас погубит, или... Или мы сами должны убрать его с дороги».

— Время идет, слышишь... Кончай его, — напоминает Нато.

Но Закро ничего не слышит.

Господи, прости Закро и Нато, прости! Сам видишь, нет в сердце злобы. «Гость от Бога, но...» Но что делать! Не вовремя повстречался этот человек на их пути. Так уж само собой устроилось, что кто-то должен упасть с обрыва, или тот человек, или Закро и его семья. Выбора нет: мужчина спит, а у Закро кинжал в руке. Да и не все ли равно, шесть или семь?

«Тевдорэ шестым был... По-моему, шестым, — мелькнуло в голове, — этот будет седьмым, мальчик — восьмым... Восьмым и последним».

— Ну что же ты, время идет.

Точно, последним будет, точно. С Божьей помощью выполнит он клятву. Грешен Закро, грешен!

Но замолит он этот свой грех: в Шуамта пойдет, Шинабади обойдет, Алаверди посетит и Мцхета — везде жертвы принесет, свечи поставит и вымолит прощение. «Настигнет тебя кара, настигнет!» — вспомнился вдруг вопль пастуха, когда однажды.., одним словом, когда убил он того пастуха.

— Зураба убери, женщина. Уведи куда-нибудь.

— Заболел он.. Заснул, ничего не услышит.

Многое вспомнилось Закро: проклятия вдов и сирот, угрозы и ненависть...

— Слышишь ты или нет!.. Что с тобой?.. Вдруг проснется тот человек, или застанет кто!

Воспоминания! А зачем вспоминать! Однако все всплыло само собой, словно дьявольское наваждение. Совсем раскис духанщик.

Нашел время прошлое вспоминать! Рядом за дверью тот мальчик прячется. Надо кончать с ним, не то погиб Закро, а там, в духане какой-то посторонний человек, хорошо, еще спит, осложнил бы все дело...

— Слышишь ты!.. Что с тобой?

Слышит, как не слышит, но... Что-то странное с

ним творится. С места не сдвинуться. Устал, наверное, от бега устал. Сел на пень, простонал:

— Может, ты сделаешь... Может, ты сделаешь, там, в духане... Потом я пойду в хлев...

Нато схватила его за плечо и с силой потрясла:

— Вставай!

— Ты сделай... Топор там же.

— Ну же, вставай!

— Не могу...

— Что за Божий гнев на тебе! Что тебя испугало?

— Не могу...

— Будь ты проклят! — проворчала женщина и направилась к духану.

Сколько времени прошло, пока Нато вернулась и погасила фонарь, Закро не заметил. Жена присела рядом и застыла. Сейчас его очередь, но он ждет — чего ждет, или кого — и сам не знает.

Жена молчит, но время от времени тычет его в бок.

Ясно, что там, в духане уже все свершилось. Осталось пойти в хлев. Господи, спаси Закро, смилуйся над грешным.

Дверь в хлев скрипит. Закро входит и закрывает засов.

Нато стережет снаружи.

Лошадь снова фыркает. Буйволы жуют. В яслях что-то шуршит. А сквозь дыру все так же проглядывает одинокая звезда. В глубине вновь слышится шорох, и Закро крадется вдоль стены на звук. Натолкнулся на теленка. Обошел его. Теперь он лучше различает тени. Привыкли глаза к темноте. Вот буйвол... Вот белоногий жеребец... Вот мешок с семенами. За мешком какая-то тень ползет... Крадется.

Но поздно уже, поздно, мальчик. Считанные мгновенья жить тебе осталось. Не спрячешься от взгляда Закро. Не уйдешь от его руки! Тень бежит к двери, натывается на другую тень, схватил его Закро...

Раз, два, три!

Кажется, то ли простонал, то ли крикнул. Не то мать позвал, не то отца. Известное дело, знает Закро: перед смертью всегда маму зовут.

Долго сидят супруги у двери в хлев.

— Придумай же что-нибудь, — говорит жена, — время не ждет.

Закро уже придумал. Во дворе стог сена стоит. Рядом яму выкопает, зароет и сеном сверху засыплет. Сено лишь к весне кончится. А до весны и следа не останется. И вот поскрипывает лопата, выбрасывается ком за комом. Растет куча земли. Духанщик по пояс залез в глубокую яму. Жена помогает. Лопатой. Вскоре несет ношу: одного завернул в бурку и принес под мышкой, положил рядом с ямой и вернулся. Второго тоже в бурку завернул и на спине тащит. Ничего, в бурке похоронит. Только бы следов крови не осталось.

Не спит еще деревня, вот и одинокие путники на дороге. Остальное потом, глубокой ночью.

— Хватит, женщина, вылезай...

— Помогни... Вытащи... — слышится из мрака придушенный голос. Протянул руку. Вытащил. О, какая тяжелая. Интересно, жена отяжелела, или он ослаб?

Закро задумался: бурку снизу постелить или сверху накрыть. «Все одно», — решил и кинул на дно ямы бурку.

Потом схватил незнакомца за ноги и...

И одеревенел, застыл, сгорбившись.

На дороге стук копыт слышен. Вот и факелы видны — два, три, пять. Боже великий, спаси Закро! Что-то случилось! Кого сюда нечистая несет? Духан на окраине деревни, стало быть... к ним едут.

— Прячься, женщина!

И стог сена скрывает обоих.

Копыта словно по груди стучат, а факелы жгут их сердца. «Может, проедут... Может, в другую сторону едут?» — теплится надежда.

Но... остановились у духана.

Факелы шипят, как змеи, и грозят духану огнем.

Кто-то яростно стучит:

— Немедленно откройте!

Домашняя дверь лишь прикрыта, никто ее не закрывал — ни снаружи, ни изнутри. Кто-то приоткрыл, один факел, пылая, бросился в духан и повлек за собой еще два или три.

— Закро, где ты? Выходи. Напрасно прячешься!

Все ясно. Прятаться бесполезно. Бежать? Жену

одну оставить? Недостойно это! И куда? Кто тебя спря-
чет?

И вдруг — сам не знает, что толкнуло его, или ка-
кая сила заставила крикнуть — вдруг побежал к ду-
хану и закричал:

— Подождите! Подождите! Сына не напугайте,
сына!

— Здесь он, здесь! — закричали оставшиеся во
дворе и окружили духанщика.

— Здесь я, здесь! — кричал Закро в открытую
дверь духана. — Здесь я, люди! Выходите, быстрее вы-
ходите, а то напугаете больного ребенка.

— Куда убитых дел? Мертвые где, тебя спрашива-
ют? — начальник так ухватился огромной ручищей
за рукав, что Закро чуть не упал. — Где они?

И еще раз затряс.

— Здесь они... Вон там... У стога, — шепчет Зак-
ро, как умирающий.

— Покажи!

И как околевшего пса потащил духанщика к стогу.

— В ваших руках я. Что хотите со мной... делай-
те. Только не напугайте ребенка, — бормочет про себя
Закро. — Вот... Здесь!

Вот! Женщина прислонилась к стогу, будто прико-
ванная, и свет факелов освещает пожелтевшее, как се-
но, лицо. У ямы два трупа лежат.

— Где твой сын? — И рука, рука старшего мили-
ционера, как пустой мешок, трясет духанщика. — Где
твой сын?!

— Какой сын? Антон?.. — лепечет удивленный
Закро.

И в самом деле странно! Если спрашивают про
старшего сына духанщика Антона, так и сами хорошо
знают его историю: пропал он двенадцать лет назад,
как забрали на войну. Двенадцать лет искал Закро его
след, но ничего не узнал. Даже адвоката нанял в горо-
де, сначала двадцать червонцев обещал, потом два-
дцать пять, наконец, пятьдесят давал и сто не пожа-
лел бы, но... Пропал Антон.

Духанщик и его Нато днем торговали, а ночью,
когда закрывался духан и сгущался мрак, в их черные
души прокрадывалась черная тоска, гнездилась там и
не уходила до рассвета.

Сколько слез они пролили — иногда втихомолку, иногда открыто, то и дело ходили то к адвокату, то к священнику, а то и к гадалке. Сколько овец и быков в жертву принесли. И денег много потратили. Но от Антона ни весточки...

Навсегда пропал Антон. Бог дал, Бог и взял. Спасибо, Господи, что хоть двенадцатилетний Зураб у них остался! Маленький он, Антона не заменит, но все-таки надежда. Хороший мальчик Зураб — умный, смелый, выносливый!

Вся деревня знает историю Антона, а этот начальник схватил его за шею и вопрошает:

— Ну, где же твой сын?

— Антон? — снова лепечет духанщик.

— Да, хотя бы Антон.

— Пропал, сам знаешь, пропал.

— Знаю, но... — И повернулся к прислоненной к стому Нато.

— Женщина, где твой сын?

— Пропал. — Глухой голос матери слышен как из квеври.

— Хорошо. Где твой второй ребенок?

И еще раз потрянул осевшего духанщика.

— Зураб?

— Да, Зураб, Зураб.

— Зураб... Мой Зураб...

И вдруг заметил мальчика. Стоит мальчик на краю ямы, русская шапка на нем, пестрая рубаха, белые шерстяные носки... На щеке, величиной с грош, родинка.

— Боже, великий! — проговорил Закро. — Сказал же, заболел он... не пугайте его... пожалейте.

— Правда это? Заболел? — И сильной рукой так затряс, будто Закро на стене висит и он стащить его надумал. — Говори. Где сейчас Зураб?

«Этот мальчишка... — думает духанщик и не может отвести от него глаз. — Этот мальчик... русская шапка... пестрая рубаха... Господи, помоги! Может, померещилось!..»

Еле ворочая языком, Закро отвечает:

— Там он... Лежит в комнате... не беспокойте... Пожалейте его...

— А этот мальчик кто? Не знаешь!

Закро протирает глаза, потом снова открывает, призрак не исчезает. Стоит мальчик: русская шапка, большая родинка, белые носки и пестрая рубаха, тот самый мальчуган, за которым, как гончая, гнался он целый час.

«Значит, это явь...»

«Постигнет тебя кара, постигнет!» — вспоминает проклятие пастуха.

«Значит, это явь... Нет, страшный сон все это, не легко обмануть Закро, выставить его на посмешище».

Духанщик улыбнулся, окинул взглядом собравшихся и, улыбаясь, покачал головой, мол, не проведете, знаю ваши штучки, знаю!

— Знаешь или нет этого мальчика?

Нет, не знаю. Рассудок подсказывает: «Скажи, что не знаешь, а то...»

Но кто-то невидимый вместо него отвечает:

— Знаю... Это тот мальчик, тот, которого...

— Кто же он, говори... Быстрее!

Он это... Сын Тевдорэ Дидзворели... Шно, которого я убил...

— Отца моего убил, — вмешался мальчик в пестрой рубахе. — Отца убил и за мной погнался. Убежал я от него, вот та женщина в хлеву спрятала... Там ее сын лежал... Он меня в яслях укрыл, потом помог через дыру выбраться.

Свершилось.

«Настигла тебя кара!» — услышал Закро голос пастуха.

— Переверните этого несчастного, — распоряжается длиннорукий. — А с того бурку снимите. — И когда выполнили его распоряжение, добавил: — Поднесите факелы поближе!

Когда три факела пролили красный свет на два окровавленных трупа, длиннорукий отпустил духанщика, отвернулся и бросил в пространство:

— Смотрите, несчастные, смотрите... вот ваши дети.

Загрохотало ясное небо, и земля разверзлась под ногами.

Прислоненная к стогу женщина соскользнула, как с креста, закрыла глаза, обмякла и распласталась на земле.

Жилы на шее Закро задергались, глаза замигали.

«Настигла! Настигла! Настигла!» — неотступно твердил пастух.

Закро нагнулся и встал на колени. Долго смотрел на старшего сына, затем взглянул на младшего, и когда поднял глаза и обвел всех взглядом, на его искаженном лице уже играла испуганная улыбка.

— Заболели... Оба они больны, — зашептал он, — не напугайте их. Пожалейте, пожалейте...

Одни отвернулись, другие опустили головы. И гнев, сверкавший в их глазах, сменился милосердием и жалостью.

Перевод Левана ВАРДЗЕЛАШВИЛИ

РАЗОРВАННАЯ ЦЕПЬ

I

Красный директор Аполлон Раполидзе ходит по своему кабинету и диктует сидящей к нему спиной машинистке, медленно и чуть слышно произнося слова, будто разговаривает с самим собой:

— А за плохим урожаем следует... Нет, не следует... должно последовать обнищание крестьянина. Запята. Обнищание, удешевление убойного скота, нарушения и...

Пишущая машинка перестает стучать и хрипеть. После продолжительного молчания Маринэ, глядя на вправленный в машинку лист бумаги, на котором, словно хорошо обученные физкультурники, выстроились в ряд по стойке «смирно» фиолетовые буквы, шепотом спрашивает:

— Нарушения и...

Красный директор останавливается за спиной у девушки. Потом, наклонившись, почти накрывает своей широкой грудью лишь слегка прикрытые легким платьем плечи Маринэ и говорит:

— А ну, покажите, что мы там написали...

— Удешевление убойного скота, нарушения и...
повторяет Маринэ.

Борода Аполлона Раполидзе — черная, ^{длинная,} густая и мягкая, как бархатистый пушистый мех, ^{ше-}кочет обнаженную шею Маринэ, а его горячее дыхание, перемешанное с неизведанным ею тайным запахом мужчины, ласкает кожу, подобно легкому ветерку. От него, как от вина, сладко кружится голова, волнуется кровь и по телу пробегает не испытанная прежде дрожь.

— Удешевление убойного скота и нарушения... Нарушения чего?.. Помогите мне, Маринэ, — шепчет Аполлон, и кончик его бороды нежно щекает мочку ее уха. — Ну-ка, заставьте работать свою маленькую головку! Как лучше написать?

На сверкающей металлической планке пишущей машинки, как в зеркале, на мгновение отражается улыбка Маринэ и мелькают ее крупные красивые зубы. Она хочет что-то сказать, но горло вдруг перехватывает и становится трудно дышать.

— Не знаю, — с усилием выговаривает Маринэ и пытается отодвинуться от Аполлона подальше. Но дыхание Раполидзе вновь жжет шею, щеку и мочку уха:

— Мы ведь друзья, Маринэ?

— Да.. Но.. — еле слышно лепечет девушка.

— А если так...

Но Аполлон не заканчивает фразу. Он наклоняется еще ниже и прижимается своей пушистой бородой к пылающей щеке Маринэ. В тот же миг его сильная рука проникает ей под мышку, а к голым плечам прижимается холодная кожа директорской куртки. Девушка испуганно хватает руку мужчины и хочет встать:

— Подожди, Маринэ... Подожди.

И берет за запястье правую руку Маринэ, которая, почти опрокинутая на машинку, пытается вырваться из директорских объятий, но, не в силах бороться, остается сидеть, оцепенев от напряжения, сжимая кисть Аполлона, и дрожит, словно пойманная в сети голубка.

Минуту оба не находят слов. Застывают в неподвижности, прижавшись друг к другу, будто скованные одной цепью.

— Маринэ... Послушай меня.

— Отпустите, — тихо стонет девушка.

— Маринэ... Моя Маринэ! — дрожащим голосом шепчет директор. — Послушай меня, девочка. Мне нужно сказать тебе... — После минутного молчания из горла, сдавленного спазмой, хрипло вырывается: — Я люблю тебя... Мне так много надо сказать тебе... Так много... Я люблю тебя... Люблю! — слышит она горячий шепот. Аполлон смолкает, но Маринэ и не ждет продолжения. В коротком слове «люблю» для нее сказано все. Разве могла она даже предположить, что строгий, холодный и неприступный директор способен произнести слова признания? Они так не вязались со всем его обликом — будто вылитым из бронзы лицом, ассирийской бородой, коротко подстриженными густыми усами, крепкими здоровыми зубами, способными, казалось, перегрызть железо, черными, как уголь, большими, величиной с орех глазами, цепкими руками, подобно клещам, обхватившими теперь бедную девушку.

Наконец долгое время молчавший директор с трудом начинает подыскивать слова, горячие, как куски раскаленного металла:

— Послушай меня, Маринэ... Мне уже сорок лет, но я до сих пор никого не любил.

На сверкающей планке пишущей машинки вновь, как в зеркале, вспыхивает и гаснет улыбка Маринэ.

— Не веришь? Клянусь тебе! Лишь однажды, двадцать лет тому назад... только однажды со мной было подобное тому, что происходит сейчас... Больше я ничего похожего не испытывал.

И вновь на губах Маринэ — одновременно радостная и недоверчивая улыбка:

— Только однажды? Правда?

— Да, моя Маринэ, да! Только однажды... После той женщины мне никто не нравился... Сердце мое принадлежит тебе. Слышишь?! Только тебе! Никому, кроме тебя!

Он вновь замолкает. Потом говорит:

— Скажи мне что-нибудь... скажи!

Высвободившись из объятий Раполидзе, Маринэ встает и поворачивается к нему. Высокая, стройная, она почти такого же роста, что и Аполлон. Стоит, нахмурившись, без тени улыбки на губах и большими карими глазами пристально вглядывается в лицо Раполидзе.

— Почему ты так смотришь, Маринэ?

Она, аккуратно поправив завернувшийся его кожанки, тряхнув головой, тихо шепчет:

— Я тебе верю...

Два тела переплетаются так тесно, словно превращаются в одно целое...

* * *

Не прошло и месяца с тех пор, как Аполлон Раполидзе принял на работу Маринэ Шопуридзе. Когда он впервые увидел чистое и открытое лицо входящей в кабинет просительницы, ее карие глаза, полные, чуть приоткрытые губы, сердце вдруг глухо застучало, и ему пришлось опустить глаза. Ее лицо воскресило в памяти облик той, другой, давно забытой... На мгновение чудовищная боль пронзила сердце — будто это она, шагнув из прошлого, ступила на порог комнаты... Но не таков был красный директор, чтобы подчиниться сладостному ужасу непрошенных воспоминаний. Безразлично глядя на приветливо улыбающуюся девушку, он сухо бросил:

— Хорошо. С завтрашнего дня приступайте к работе.

Девушка вышла, а директор никак не мог оторвать взгляда от двери, за которой скрылась Маринэ: воображению рисовались маленькие ножки, полные плечи, медового цвета копна волос, собранных на затылке...

Поначалу директор и машинистка виделись друг с другом лишь мельком. Но начиная с третьего дня, секретарша Раполидзе стала почти ежедневно предупреждать Маринэ:

— Останьтесь. Директору надо напечатать доклад. Или:

— Приходите вечером. Есть работа.

Сторож перенес ее машинку в кабинет директора. Каждый вечер Маринэ заходила в комнату и садилась за стол в ожидании диктовки. Директор, левой рукой пощипывая бороду, задумавшись, долго ходил по кабинету. Потом говорил:

— Давайте начнем.

И приступал к диктовке. Но вместо докладов они

печатали письма. Сначала Маринэ было непонятно, почему Раполидзе так засекречивает обычную переписку, зачем тратит на нее свободное время, не давая проголодавшейся и уставшей Маринэ возможности вовремя пообедать. Но вскоре женское чутье подсказало ей разгадку странного поведения директора...

Диктуя, Раполидзе время от времени садился на стул лицом к машинистке и пристально смотрел на нее. Казалось, он пытается выведать у нее какую-то тайну, будто рядом с ними незримо существует некто третий, раздражающий его своим присутствием. Порой во время диктовки Аполлон терял мысль и как бы невзначай начинал выпытывать у Маринэ:

— Так, значит, вас зовут Маринэ, не так ли?

— Да.

— Маринэ Шопуридзе?

— Да.

— Шопуридзе... Шопуридзе... Кажется, я где-то слышал эту фамилию...

Он морщил лоб, смотрел в потолок, силясь воскресить в памяти что-то давно забытое, но тщетно.

Маринэ понимала: Аполлон ждет, что она придет ему на помощь, расскажет о себе, но делала вид, что не придает значения его настойчивым расспросам, и упорно молчала. Только однажды ненароком проговорила:

— Фамилия Шопуридзе очень распространенная... Вы когда-нибудь жили в Баку?

— Нет, никогда, — ответил директор.

— А мы родом из Баку. Никуда, кроме Тбилиси, не выезжали. Вы вряд ли знаете моих родных.

Девушка надеялась, что после этого разъяснения Аполлон прекратит свои расспросы. Но не тут-то было. Минут через десять директор вновь прервал диктовку и поинтересовался:

— А в Тбилиси вы давно живете?

— Еще нет и месяца.

— Приехали сюда прямо из Баку?

— Да, из Баку.

— А до этого в Тбилиси не жили?

— Нет, никогда.

— И в России никогда не были?

— Нет, не была.

Директор как будто успокоился.

— Хорошо, давайте продолжим. На чем мы оставились?

— Основой нашего народного и государственного хозяйства является...

— Да. Основой является...

Иногда, стараясь не прерывать диктовки, он останавливался за ее спиной, и взгляд его надолго задерживался на ее пышных плечах, золотистом пушке на затылке, шелковых косах, отливающих светло-медовым оттенком. Ощущая пристальный взгляд, девушка оборачивалась и, застенчиво улыбаясь, тихо спрашивала теряющего голову директора:

— А дальше?

— Да-да... Сейчас... Прочитайте последнее предложение.

Маринэ добросовестно перечитывала последнюю напечатанную ею фразу и напряженно ждала продолжения. Не сразу придя в себя, Раполидзе невнятно и глухо, будто разговаривал сам с собой, бросал:

— Хватит... Можете идти... Ваш обед, наверное, давно остыл.

И Маринэ, провожаемая его затуманенным взором, уходила, торопливо стуча каблучками.

* * *

После встречи с Маринэ директор превратился в другого человека: мягкого, тихого, спокойного, на его кудрявой голове больше не появлялся вылинявший кусок шерстяной материи, заменявший ему шапку, а его громоподобный бас уже не сотрясал стены в начальственном окрике:

— А ну скорей! Сделать немедленно!.. Приступайте сейчас же, а не то...

Он перестал бить кулаком по столу, когда видел, что подчиненный не бросается сломя голову, а спокойно идет выполнять поручение, и, что самое удивительное, стал со всеми вежлив и предупредителен:

— Прошу вас... Пожалуйста справку... Не опаздывайте, пожалуйста...

Бывало, он надолго замолкал, сидел, уставившись в одну точку, и даже не замечал вошедшего.

Многое довелось пережить ему в жизни, прошел он и через каторгу в ледяной далекой стороне. Но стоило ему увидеть Маринэ, как сердце его, закалившееся в нескончаемых испытаниях и поэтому твердое, как кремь, внезапно смягчилось. Словно вместо куска огнеупорного металла затеплился в груди робкий огонек тлеющей свечи. Не прошло и месяца, как все его существо охватило такое адское пламя, будто его день и ночь разжигали тысяча чертей.

Пожар любви, сжигая на своем пути все преграды, перекинулся и на Маринэ, и они загорелись страстью, как язычники, перепрыгивающие через костер в ночь на Ивана Купала.

II

— Ну хватит, прошу тебя... Успокойся... Не сходи с ума. Хватит, умоляю, — в десятый раз повторяет Маринэ и делает вид, что хочет освободиться из объятий Аполлона, но тут же сама обнимает его, трется щекой о черную бороду и вновь подставляет ему свои воспаленные от поцелуев губы, и он жадно припадает к ним, как к пиале со сладостным питьем.

В конце концов они отрываются друг от друга, Маринэ подходит к застекленному шкафу и, глядя в него, как в зеркало, поправляет растрепавшиеся волосы. Потом вновь оборачивается к Аполлону, полулежащему без сил в кресле. Папиросный дым окутывает его облаком, лица не видно:

— Ну что? Уходим?

Директор встает с кресла, хватая девушку за плечи и спрашивает:

— Ты мне веришь?

— Верю, конечно, но чего же ты хочешь?

— Я схожу с ума от любви к тебе и не могу оставаться один. Я не могу жить без тебя. Давай поедем во Мцхета и поговорим. Ведь ты не боишься меня?

— Тебя?! Нет, но... я ведь опоздаю. Что скажет мама?

— Что скажет мама?! Пусть говорит что хочет! Странно, почему ты, Маринэ, такая умная девушка, до

сих пор не привыкла к тому, что мы живем в новом обществе, где каждый человек свободен!

— Я знаю, но...

— Что значит «но»? Ты ведь, как рабыня, живешь в постоянном страхе: что подумает мама, что скажет, как посмотрит на мое опоздание! И это называется современная свободная женщина?!

Маринэ колеблется.

— Если я опоздаю, мама начнет меня искать...

— Нет, дорогая, ты вовсе не опоздаешь! Всего лишь час уйдет на дорогу, еще один — на обед. Сейчас пять часов. В семь ты будешь дома.

— Хорошо, Аполлон, хорошо. Только успокойся. Я согласна. Лишь бы ты не сердился. Ради Бога, не волнуйся, а я постараюсь доказать, что твоя Маринэ — свободная женщина нового общества!

— А если твоя мама узнает о том, что ты ездила со мной в автомобиле?

— Пусть говорит что хочет!

— А если она спросит тебя обо мне, что ты ответишь?

— Маринэ скажет: я люблю Аполлона...

— А ну покажи, как ты меня любишь...

— Вот так!

Они еще раз крепко обнимаются и выходят на улицу. У подъезда директора ждет автомобиль.

— Подожди, Аполлон. Нам не надо идти вместе. Тут центр города, все увидят нас и начнутся пересуды: директор катает служащую треста на казенной машине...

— Ну и черт с ними! Пусть сплетничают сколько влезет. До сих пор никто не видел женщины рядом с Аполлоном Раполидзе, а с сегодняшнего дня мы навсегда вместе. Садись, Маринэ, садись. Симон, прокатимся до Мцхета?

— А почему бы и нет? Я готов, — улыбается шофер.

— Ну тогда поехали.

* * *

И вот они едут. Теплый осенний день уже клонится к вечеру. Нежаркое солнце спокойно освещает холмы и горы. Медленно плывут по лазурному небу золоти-

стые кучевые облака. Далекие снежные вершины в лучах заходящего солнца кажутся охваченными сильным пламенем и медленно гаснут, как потухающий костер. Дигомское поле и Зедазенский хребет переливаются разноцветными бликами, похожими на отблески рубина и прозрачного янтаря.

«Бенц» с мотором в сорок лошадиных сил с гудением мчится по дороге, оставляя за собой длинный хвост пыли.

Маринэ и Аполлон сидят, тесно прижавшись друг к другу. Их трясет, подбрасывает, качает, кидает из стороны в сторону, но рука Аполлона крепко, будто железным кольцом, обнимает за талию притихшую Маринэ.

— А вот плот. Наверное, плывет из Боржоми, — шепчет девушка.

У противоположного берега бурной Куры, густо заросшего высокими тополями и кустарником, быстро проплывает, словно огромная щепка, большой плот.

— Ты была когда-нибудь в Боржоми, Маринэ?

Девушка отвечает с запинкой и неожиданно волнуясь:

— Я?.. В Боржоми? — и неуверенно добавляет: — Нет, не была.

— Тогда откуда ты знаешь, что плоты обычно плывут из Боржоми?

— Знаю... Слышала.

— И по этой дороге никогда не ездила? И во Мцхета не была?

— Нет... Не ездила... Не была, — растерянно отвечает девушка.

Однако Аполлон не обращает внимания на неуверенные ответы Маринэ. Сердце его переполнено неизведанным прежде блаженством, а мысли заняты тем, что будет завтра, послезавтра и потом, скоро... Маринэ только что исполнилось восемнадцать лет. Как видно, она из хорошей семьи — образованна, прекрасно воспитанна. Но если бы даже это было не так, он все равно не откажется от своего чувства и не расстанется с ней так легко, как расставался с другими женщинами... Нет, эту девушку Аполлон любит по-настоящему... А вдруг... Нет, нет! Прочь глупые подозрения, прочь!

— Маринэ!.. Моя Маринэ! Тебе не холодно, дорогая?

В сумерках он смутно различает ее улыбку. Нет, Маринэ не холодно. Ей достаточно легкой накидки. Однако Аполлон все же откидывает полу своей кожаной куртки и заботливо укрывает девушку.

«Удивительно! — думает Аполлон. — И она тоже любила вот так положить мне голову на плечо и уснуть. И похожа на нее: черты лица, привычки, слова и... ласки».

— Маринэ, как зовут твою маму?

Вновь сильный толчок и шепот:

— Эленэ...

Авто берет направление к Дигомскому полю, и мотор начинает чаще гудеть и стучать. Арбы, медленно тянущиеся к городу, кажется, пролетают по дороге. Мальчишки-пастухи машут проезжающим кнутами и свизгом и свистом кричат им что-то вслед. Из Авчал в клубах пара мчится поезд, похожий на огромного черногоглавого дракона. У моста машина огибает горный мыс, пересекает железную дорогу и берет направление в сторону Мухатгверди. Маринэ с интересом смотрит по сторонам и спрашивает у задумавшегося Аполлона:

— Это что? ЗАГЭС, да?

— Да, дорогая, ЗАГЭС.

Аполлон многое мог бы рассказать Маринэ об этой знаменитой электростанции, строящейся у подножия Джвари. Но сейчас он молчит. Ему не до того. Он смотрит на Арагвское ущелье и думает о будущем.

Вот промелькнул небольшой поселок. В ущелье полумрак уже расправляет свои черные крылья. Горит в вышине под лучами солнца только купол Джвари. Зедазенский хребет похож на опустившегося на колени гигантского дракона, выгнувшего позолоченный солнцем хребет до неба, а морду опустившего в Арагви, чтобы напиться. Небольшая чистая Арагви доверчиво прижалась к широкой и бурной Куре, совсем как погрустневшая Маринэ к могучему Раполидзе. Светицховели, будто окаменевший Голиаф, свысока поглядывает на бедную деревеньку вдали. И кажется, что полуразрушенный Гартис Кари, как бедняк в разодранной одежде, жалуется Зедазени, Арагви и обезглавленной Бебрис Цихе: «Эй вы, посмотрите и пожалейте меня! Вот что

сделали со мной — ранили в самое сердце и разграбили мое имущество!»

Внезапно тишину разрывает гудок паровоза, словно раздаётся ржание сказочного железного коня. Отозвавшись эхом в скалах Армази, звук повторяется по ту сторону Куры, будто кто-то, как мяч, перебросил его туда, и замирает где-то вдали, поглощенный кельями Шиомгвимского монастыря.

Машина разворачивается, быстро преодолевает каменный мост и поворачивает к Мцхета.

Маринэ легонько толкает локтем умолкшего Аполлона и улыбается, глядя ему в глаза:

— Ты уснул? Куда мы едем?

Аполлон выходит из задумчивости, прикладывает ладонь ко лбу и усмехается:

— Уснул? Сидеть рядом с тобой и заснуть?! Вот если бы заснуть с тобой... Хо-хо-хо!

— Не смей, замолчи! — возмущается Маринэ. — Тебе не идут такие шутки.

— Я не шучу.

— Тем хуже. Повторяю, тебе не к лицу подобные слова.

— Почему? Почему не к лицу?

В ответ Маринэ прижимается к нему еще тесней, потом нерешительно шепчет:

— Не знаю. Не могу объяснить... Не идет и все.

— Может быть, тебе еще что-то не нравится во мне?

— Нет.

— Например, когда я говорю, что люблю тебя, это тебе нравится?

Маринэ смущенно улыбается, уткнувшись лицом в грудь Аполлона:

— Очень! Очень! Ну скажи еще раз.

— Маринэ, я люблю те-бя, — шепчет ей на ухо Аполлон.

Девушку охватывает чуть заметная дрожь:

— Ну еще один раз... еще раз... еще, еще, еще десять раз... десять раз еще, сто раз... тысячу!

И директор, наклонив к ней голову, шепчет слова признания и десять, и двадцать раз подряд:

— Люблю тебя, Маринэ... Люблю тебя, дорогая... Слышишь? Я люблю тебя...

Готовая до бесконечности слушать эти волшебные слова, Маринэ, будто от щекотки, заходится от тихого смеха, потом выпрямляется и хохочет уже во весь голос.

— Чего ты смеешься, дурочка?

— Ха-ха-ха... Еще сегодня утром я бы не поверила, что ты вообще знаешь эти слова. Ха-ха... что когда-нибудь сможешь их произнести!

— Почему? Я что, похож на женоненавистника?

— Ты всегда такой серьезный и угрюмый, что к тебе не подступишься!

— Только поэтому?

— И упрямый... как буйвол.

— Хо-хо-хо... Еще! Какой я еще?

— Какой? Еще ты бываешь злой и тогда рычишь, как медведь.

Хохот директора заглушает рев мотора.

— Еще! Ну давай еще!

— Ты важничаешь, как индюк. Ходишь вразвалку, точно неуклюжий дэв.

Аполлон, непроизвольно сжав тоненькую талию Маринэ, хохочет с таким упоением, что не слышит ни стонов, ни писка девушки. И лишь опомнившись, беспокойно спрашивает:

— Я сделал тебе больно?... Ничего не повредил? Ах, пусть отсохнут мои руки! — и бьет одной рукой другую. — Извини, любимая, извини! Прости меня, Маринэ!

Девушка, болезненно морщась, трогает свои ребра и еле выдавливает на губах улыбку:

— И эти слова тебе не идут.

— Какие?

— «Прости» и «извини».

— Хорошо, дорогая, уговорила. Отныне ты больше не услышишь от меня этих слов! Даже если буду виноват, не стану извиняться и просить прощения!

— И тогда? Гм... Тогда посмотрим.

— Симон, останови, приехали! — поворачивается Аполлон к шоферу. «Бенц», завизжав, резко тормозит у духана.

— Здравствуйте, гости дорогие! Милости просим! — выходит им навстречу духанщик. — Проходите, са-

дितесь, пожалуйста! Чем угощать буду? Да всем, что душа пожелает. А как же иначе?!

Они садятся за грязный деревянный стол и заказывают чихиртму, шашлыки и вино. Быстро справившись с густой чихиртмой, остужают ее жар двумя стаканами вина.

— Маринэ, расскажи мне что-нибудь о себе...

Ну что, Аполлон, может рассказать тебе Маринэ? Все, что могла, она уже сказала. Никаких особых событий не было в ее жизни. Все просто: родилась в Баку и росла там, никуда из города не выезжала.

— Кем был твой отец?

— Мой отец?.. Мой отец был... Мой отец был врачом... да, он был врачом.

— Сколько лет прошло с тех пор, как... Кажется, он умер, да?

Маринэ сидит нахмурившись, опустив голову, медленно катает на столе шарики из хлебного мякиша и нехотя роняет будто вырванные насильно слова:

— В позапрошлом году.

— Где?

— В Баку.

Вдруг на ее побледневших щеках показываются две крупные слезы. Одна, вторая, затем еще и еще. И вот Маринэ уже громко рыдает, положив руки на стол и уронив на них голову.

Шампуры с кусками мяса застывают в руках у духанщика.

— Ва-а-а-а! — горестно стонет он и остается стоять у огня с открытым от удивления ртом.

Шофер, смутившись, выходит на улицу.

Аполлон же растерянно бормочет:

— Маринэ!.. Моя Маринэ, что с тобой? Что случилось, дорогая? На вот, выпей воды... Или нет — лучше вина...

Отец умер? Ну и что? Рано или поздно все мы теряем отцов. И у Аполлона умер отец. Мать горе унесло. Не смогли единственного сына уберечь от ссылки в Сибирь. У Маринэ должно быть такое же сердце, как у Аполлона: стойкое, твердое, крепкое, как кремь. Ведь тот, у кого слишком мягкое и доброе сердце, не сумеет выжить...

— Успокойся. Разве можно так горько оплакивать умершего два года тому назад человека?

— Ты не знаешь... Меня мучает другое... — всхли-
пывает Маринэ.

— Что же заставляет тебя плакать? Скажи, любимая!

Скажет ли Маринэ? Нет, нет! Никогда не откроет она истинной причины своих слез! По крайней мере, сейчас не скажет ни за что. Нельзя говорить об этом ни сегодня, ни завтра! Нет, нельзя!

— Я скажу тебе... как-нибудь потом...

— Когда станешь моей женой, да?

Маринэ улыбается и вытирает платком слезы.

— Да... Когда-нибудь расскажу непременно. Но не сейчас.

— Ва-а-а! — напоминает о себе духанщик. — А шашлыки-то совсем остыли!

Но Маринэ уже не хочется шашлыков. Пусть ее порцию съест вот эта собака:

— Туго, на, съешь мою долю.

Виляя хвостом, тощая собака на лету хватает зубами куски и, давясь, глотает их один за другим.

— Ну разве собачья еда шашлык? — сокрушается духанщик. Вот у меня есть один сосед — бедный и больной человек. Так он даже раз в месяц не видит мяса. Ну разве Хазир меньше достоин шашлыка, чем собака?! Если угостите его мясом, он будет молиться на вас.

— Правда? Если он так голодает, его надо накормить. Зовите его немедленно! Пусть поест. Поставьте ему еще и бутылку вина. Пусть помолится за наше счастье. Ведь можно, Аполлон?

— Ну конечно! Только с одним условием: эту бутылку мы должны осушить вдвоем.

Хорошо. Да будет так! Маринэ жаждет выпить это вино. Налей, Аполлон, налей!

— Я пью за то, чтоб Бог благословил... — и заканчивает уже шепотом: — нашу любовь...

Налей, Аполлон, налей Маринэ еще вина! Сегодня особый день. Сегодня она должна выпить! С ней происходит что-то особенное.

— Я никогда не забуду этот вечер. Я нашла свою

судьбу. Чувствую, что это случилось! А ты, Аполлон? Что скажешь ты?

— Маринэ, мне ли забыть этот день? И я нашел суженую, свое счастье.

Правда? Ох, какая же ты счастливая, Маринэ! Сердце от радости стучит как бешеное и норовит выскочить из груди. Маринэ с трудом сдерживается: ей хочется бегать, кричать, петь, танцевать, а не чинно сидеть за столом!

— Аполлон, давай пройдемся, мне хочется на воздух!

Будто на крыльях, выпархивает она из духана. Чтоб не упасть, рукой приподнимает длинное платье и убегает в ночь. За ней мчится, злорадно скалясь, желтая луна и неотступно, шаг за шагом преследует ее черная тень:

— Маринэ, не упади!.. Осторожней, дорогая!

— А ну-ка догони меня! Догони, если сможешь!

Все дальше несется Маринэ. Аполлон бежит следом. Кажется, вот-вот догонит он девушку и обхватит ее талию сильными руками. Но стоит ему протянуть руки, как светлое легкое платье с шорохом выскальзывает из его объятий и растворяется в темноте.

— Не упади, говорю тебе! Иди ко мне, любимая... — и хочет прижать к груди запыхавшуюся Маринэ.

Но девушка не унимается — скачет, как козочка, и выкрикивает:

— Хей, хей, хей!

Вдруг у одного из домиков начинает лаять собака, скрипит калитка:

— Кого там черти носят? — слышится мужской голос.

— Ты чего такой любопытный? — смеется Маринэ. — Дай Бог тебе счастья!

— Благослови тебя Господь! Но куда же ты идешь, девушка? — произносит застывшая у калитки тень. — Там дальше — Арагви.

— Как раз туда мне и надо, друг. Спокойной ночи!

— Пусть Создатель благословит твой путь и улыбнется тебе судьба, ты, видать, хороший человек! — слышится в отдалении.

— Ну что ты потеряла у реки? Останемся здесь! — просит Аполлон.

— Ну как ты не понимаешь, там же так хорошо! Ну прошу, спустимся еще немного... Посмотри, как блестит Арагви!

Они пересекают каменистый берег и подходят к воде. Арагви шумит и бормочет в глубине, тускло подсвеченная редкими коптилками, зажженными на горе, в Цицамури. Сбоку возвышается Джвари, похожий на огромного дэва, рассевшегося на скале, расставив ноги. На противоположном берегу в глаза бросается маленький городок близ электростанции, выхваченный из тьмы тысячами огней.

Насмотревшись, Маринэ принимается собирать камни и бросать их в воду. Потом останавливается, несколько минут с вызовом смотрит, задрав голову, на яркую луну и начинает петь.

— Подтягивай вторым голосом, Аполлон!

— Мо-о... а-а-хо-хо-о-о — трубным басом фальшиво вторит ей директор.

— Замолчи! Замолчи! — кричит Маринэ. — Как ты поешь?! Тебе медведь наступил на ухо!

— Это ты верно заметила, — покорно соглашается Аполлон.

Маринэ поет одна. Спев одну песню, запевает другую, тут же придумывая слова. И в песне этой, рвущейся из переполненной чувствами груди, слышится Аполлону страстный призыв: «Ты — моя радость и мое сокровище! Люблю и изнемогаю от любви! Ах, услышь мой зов — и возьми меня! Знай, я твоя!»

Замолкнув, она сладко потягивается, подняв руки вверх, и хочет повернуться к Аполлону. Но в это время он сзади хватает ее за плечи и чужим хриплым голосом тихо произносит:

— Маринэ...

Девушка не отвечает. Сильные цепкие руки мужчины, словно железным обручем, сжимают ей грудь и пытаются скрутить и развести ей руки, будто силясь их сломать.

— Маринэ, — приглушенно повторяет Аполлон и опрокидывает девушку на влажный береговой песок.

— Моя Маринэ...

— Пусти...

И не узнает своего голоса.

— Маринэ... Подожди, дорогая, послушай меня...

Ведь я и ты... я и ты... мы — муж и жена...

— Нет.

— А я говорю тебе, что мы с тобой муж и жена!

Маринэ ничего не отвечает. Закрывает дрожащими руками лицо и оцепенела.

— Завтра же пойдем и распишемся. С завтрашнего дня мы будем законными мужем и женой.

— Пусть тогда все будет завтра. А сейчас пусти.

— Нет, не пущу.

Начинается борьба. Они борются, подобно гиенам: со стонами, криками, мольбами, царапая друг друга и доходя до отчаяния. Маринэ то умоляет оставить ее в покое, то дрожит в предчувствии неизбежного, то ускользает из рук, но в ту же минуту сама тянется к Аполлону, прижимается к его груди и бормочет что-то невнятное. Потом внезапно затихает, только видно, как одна за другой бегут по щекам слезы. Сил бороться больше нет.

* * *

Как мертвая лежит Маринэ на илистом берегу Арагви. Лицо она закрыла руками, стыдась и луны, и неба, и возлюбленного. Слез уже нет. Она молчит.

Аполлон сидит рядом, смотрит на зеленое отражение луны в реке и время от времени бросает в Арагви камушки. Понимает ли красный директор, что именно теперь нуждается Маринэ в ласке и утешении? Понимает, конечно, но не может преодолеть в себе невольное безразличие. Он ищет нежных слов, но, как назло, не может вспомнить ни одного.

Проходит какое-то время. Маринэ медленно встает, не глядя в его сторону, оправляет платье, кое-как собирает растрепавшиеся волосы. Потом глухо роняет одно-единственное слово:

— Пошли.

Поворачивается и идет в сторону деревни. Аполлон, нахохлившись, следует за ней с опущенной головой, как пойманный вор.

Внезапно Маринэ спотыкается на каменистом берегу.

— Не упади, — заботливо произносит Аполлон, об-

радованный возможностью заговорить, и берет ее под руку.

Они идут молча и осторожно, подобно ночным теням. Пройдя по тропинке, подходят к духану.

Симон подгоняет машину и сигналиит.

— Не забывайте нас. Всегда буду рад вашему приезду, — провожает гостей духанщик. — Да благословит вас Бог!

Маринэ молчит.

— До свидания, — холодно прощается с ним Аполлон...

Авто мчится обратно, вновь проезжая по мосту, мимо станции и Армазского ущелья. Мелькают кусты и еле видные в темноте скалы, остаются позади строения и огни ЗАГЭСа.

Аполлон обнимает Маринэ рукой за плечи и привлекает к себе. Девушка подчиняется силе, но не прижимается доверчиво, как прежде, не опускает голову ему на грудь.

«Бенц» преодолевает несколько поворотов и вновь выезжает в открытое поле. Прямо в глаза светит желтая луна, кладя мертвенные тени на их печальные лица.

— Маринэ! — с трудом выговаривает Аполлон, пытаясь вложить в свои слова всю нежность, на какую способен. — Давай прямо сейчас поедem к твоей матери.

— На что тебе моя мать?

— Ты должна представить нас друг другу. С этого дня я — ее зять.

Маринэ недоверчиво, искоса смотрит на него, и лицо ее медленно проясняется.

— Завтра же оформим наши отношения.

Да, завтра же. Зачем медлить и затягивать?! Аполлон терпеть не может шумных застолий, разодетых сплетниц и криков «Горько!». Сам он скромный человек, и свадьба должна пройти спокойно и просто.

Маринэ заметно смягчается и постепенно все ближе придвигается к Аполлону. Слушает его молча. Она согласна с ним. Пусть будет так, как хочет он. Но...

— Но у меня нет даже приличного платья...

Платья? Хо-хо! Неужели Маринэ до сих пор не отвыкла от старых привычек? Разве время сейчас для нарядов, всякой там парчи? В чем Маринэ сейчас, в

том же будет и на свадьбе! Потом Аполлон, конечно, купит ей новое платье. Но как можно из-за платья откладывать свадьбу?

— Перед родственниками неудобно. Надо устроить хотя бы ужин.

Ужин? Что ж, от ужина и Аполлон не откажется. И у него есть родственники и друзья. Сколько комнат у Маринэ с матерью?

— Одна.

— У меня тоже одна.

Ничего не поделаешь. В одной комнате гости не поместятся. И посуды не хватит. Аполлон завтра утром закажет ужин приблизительно на двадцать человек в одном из лучших ресторанов города. Какой из них предпочитает Маринэ?

Ей все равно — она не была ни в одном. Но что скажет мама? Маринэ смеется:

— Ха-ха-ха! Только вчера приехала в город, а завтра должна будет выдавать дочь замуж.

— Вчера? Значит, она даже имени моего еще не слышала?

Нет, не слышала. Маринэ не успела даже толком с ней поговорить. Вот и сегодняшний день прошел так, что она маму даже не видела. Как она будет поражена!

— Как она, должно быть, удивится! Давай зайдем без предупреждения, и ты скажешь: «Мама, познакомься! Это твой зять Аполлон Раполидзе».

Оба смеются. Да-да, непременно. Только так.

— Хо-хо! Что с ней будет! — ржет Аполлон.

— Ха-ха-ха! Она потеряет дар речи! — заливается Маринэ, подпрыгивая на сиденье.

Итак, с завтрашнего дня Маринэ Шопуридзе превратится в Маринэ Раполидзе. Прямо не верится! Отныне она будет отзываться на чужую ей до сих пор фамилию... Как это странно и непривычно! Кто придумал такое правило — менять свою привычную фамилию на фамилию мужа? Может, это делают для того, чтобы женщина забыла о себе и всю себя посвятила мужчине?

— Итак, с завтрашнего дня я стану Раполидзе, да? Ха-ха-ха! Удивительно!

Сегодняшняя машинистка станет женой директора. Как будут поражены этому все сослуживцы! Многие

станут завидовать... Но глубоко затаят свои чувства и придут поздравлять... Неужели ей, замужней женщине, опять придется день-деньской стучать на этой проклятой машинке?

— Конечно. Сейчас такое время, дорогая, — все должны работать. Только придется перевести тебя в другое учреждение, мужу и жене запрещается работать вместе. Пока что пусть будет так, как есть, а потом, если надоест, будешь заботиться о семье.

Что ж, трудолюбивая и добросовестная Маринэ не боится работы. К ней она давно привыкла. Но...

— Мама... Как же мама?

— Мама твоя будет жить вместе с нами и заниматься хозяйством.

В знак благодарности Маринэ молча целует Аполлона. Потом говорит:

— А что делать с квартирой? Как мы будем жить втроем в одной комнате?

И это уладит Аполлон. Найдет двух- или трехкомнатную квартиру. А пока Маринэ переедет к нему. Правда, мебель у него не годится, зато кровать — что надо! Вдвоем они поместятся свободно.

Услышав о постели, Маринэ невольно изумляется. И как же не удивиться: ведь до сих пор она спала одна. Только изредка в детстве забиралась в постель к матери. А сейчас придется спать с кем-то чужим... Да еще с мужчиной! С высоким, большим, как шкаф, бородатым мужчиной. Кто знает, может, он волосатый? У него такие густые брови, борода и усы, и мягкая шерсть на руках и затылке, что, наверное, и все тело покрыто волосами. Ну и пусть. Хотя... Ну и что из этого? Маринэ любит Аполлона — любит его бороду, его всего. Кончик бороды так приятно щекочет кожу... Ляжет с ним рядом и станет выдергивать из бороды по волоску! Вот будет потеха!

— Ха-ха-ха, — тихо смеется Маринэ.

— Что тебя так смешит, дурочка?

— Ничего. А ты во сне не храпишь?

— ...Нет... не знаю. А ты?

— Я?! Боже упаси!

Неужели так будет: Маринэ спит рядом с Аполлоном?! «Хотя, — думает девушка, — что в этом такого уж странного? Вот и сейчас они сидят так близко друг

к другу. А завтра она так же прижмется к нему, к своему мужу, в широкой постели — двое под одним одеялом, две головы на одной подушке. Большой разницы она не видит: разве что сейчас они одеты, а завтра...»

— Послушай, моя Маринэ, там, у реки, я не сделал тебе больно, а? — шепотом спрашивает Аполлон.

— Ничуть...

— А ты не обиделась?

— Ладно, оставь.

— Но все же...

— Замолчи, говорю.

Что ж, «замолчи» — тоже своего рода ответ. До Аполлона это наконец-то доходит, и он замолкает.

Обиделась ли Маринэ... Конечно, обиделась! Ее поразила грубость Аполлона, но... Если говорить правду до конца, не так уж она и обиделась. То, что случилось, должно было случиться. Сегодня это будет или завтра — разве не все равно? Такова участь девушки, Маринэ — не первая и не последняя. Когда-то и где-то происходит это в жизни каждой девушки — в комнате или в поле, в лесу или у реки, — какая разница? И что вообще за разговоры об обиде?! Главное, чтоб было хорошо ее мужу! А ей что, много надо? Она счастлива одним сознанием его счастья. Маринэ больше ничего не надо. Остальное придет и устроится само собой.

Раполидзе слышит ее неузнаваемый от волнения, дрожащий голос:

— Аполлон... Мой Аполлон! Скажи, ты счастлив?

Да, любимая, да. Он давно не испытывал подобной силы чувств и так занят своими переживаниями, что ничего больше не требует от жизни.

— А ты, Маринэ, ты? А ты счастлива?

Замолчи, Аполлон, замолчи! Слова только мешают, слова ослабляют чувства. Лучше давай помолчим... Ни тебе, ни Маринэ не удастся придумать такие слова, которые передали бы все ощущения и были бы содержательнее молчания, того молчания, когда слышен стук двух сердец. Замолчи, Аполлон, замолчи! Помолчи вместе с Маринэ!

Умолкло все вокруг. Будто и высокие горы, и Кура, и небо, и Дигомская равнина, и луна замерли в

сладостных любовных объятиях, слились, превратились в единое существо. Только авто нарушает тишину и гармонию в природе. Но ни Маринэ, ни ее суженый не слышат его грохота и скрипа.

Внезапно машина останавливается. Две ее фары, два огромных светящихся глаза выхватывают из темноты бесчисленную отару блеющих овец. Все — и дорога, и поле, и пространство вокруг них заполняется топотом и шумом движущегося, раскачивающегося, как море, стотысячного стада. Обычно красноватые глаза овец сверкают в ночи, как драгоценные изумруды. Ночь, крики животных и эти бесчисленные зловещие зеленые огоньки, похожие на звезды. А вот едут нагруженные лошади, глаза у них величиной с дикое яблоко и горят, словно огненные рубины. Пастухи на лошадях едут молча. Рычат собаки. Ослы с опущенными головами двигаются нехотя и растерянно, никого и ничего не замечая вокруг.

Наконец отара, обойдя машину, исчезает из виду. «Бенц» двигается дальше...

Маринэ и Аполлон очнулись от волшебного сна, лишь когда въехали в город.

— Где ты живешь, Маринэ?

— На улице Важа Пшавела.

Значит, они будут вести себя так, как договорились: войдут вместе, и Маринэ скажет: «Мамочка, познакомься! Это твой зять». И больше ничего. А Аполлон добавит: «Мама, приглашаем завтра на нашу свадьбу». Вот так.

— Мою маму ты тоже будешь называть мамой, да?

— Ну конечно. У меня нет матери. Твоя мама должна стать матерью и для меня.

Маринэ крепко сжимает его руку в своей и улыбается.

Она, машинистка, уже не стесняется сидеть в авто рядом с директором. Ну и пусть видит весь город! Уже завтра все будут говорить: вчера директор треста гулял со своей невестой. Чем ближе к дому, тем сильнее бьется у Маринэ сердце.

Моя родная мамочка! Я нашла суженого. Может быть, он тебе не понравится, это не человек твоего круга. Но все равно не упорствуй и не мешай счастью своей Маринэ.

Нет, ты не отравишь счастья дочери. У Аполлона на груди—Красная Звезда. Может, пока снять ее и прежде объяснить маме, кто такой Аполлон? Нет, пусть. Не нужно. Пусть узнает и увидит все сразу. Так будет лучше. Но в одном Маринэ должна признаться сразу — в своем грехе, в своем обмане. Не сердись, Аполлон, на невесту, я не могла иначе. Да, я сказала неправду, солгала, но ведь это все равно никак не отразится на наших отношениях! Ложь была необходима для того, чтобы поступить на работу и заработать себе на кусок хлеба. Ведь я не замышляла ничего плохого! Кто посмеет назвать мою вынужденную ложь коварством?! Я была вынуждена совершить подлог. Правда, за ним естественно последовал новый обман... Признаться сейчас или завтра? А может, отложить на потом? Конечно, сейчас лучше. Чтобы мама на попала в неловкое положение.

Но теперь уже поздно.

«Бенц» останавливается.

Аполлон, дай руку Маринэ. На лестнице темно. Осторожно, не упади... Здесь двенадцать ступенек. А здесь пятнадцать. Сейчас — налево... Теперь поверни направо.

— Вот наша квартира. Постучим.

— Входите, пожалуйста, — слышится изнутри.

Они открывают дверь и входят вместе. Маринэ идет впереди Аполлона и ведет его за руку, как пленника.

Вдруг Аполлон останавливается и с силой вырывает руку, будто ее ошпарили кипятком.

Перед ним — убеленная сединами Даро.

Маринэ, взволнованная тем, что ей надо сказать матери, не замечает состояния Аполлона, не останавливается и даже не оглядывается на него. С открытой улыбкой подходит она к матери, протягивая руки, и говорит:

— Мама, познакомься с моим... с моим женихом...

И только потом поворачивается к Аполлону. Но не узнает его. Он стоит бледный, с перекошенным лицом.

— Аполлон, что случилось?.. Тебе плохо?

В тот же миг раздается стон. Обернувшись, потрясенная Маринэ видит, что Даро пошатнулась, будто у нее подкосились ноги, затем, опершись о стол, тяжело

опустилась в стоящее рядом широкое потертое кресло и при этом с таким ужасом смотрит на директора, будто в дверях вместо человека выросло ужасное чудовище, явившееся за обещанной жертвой.

III

Это случилось, когда Аполлон Раполидзе был двадцатилетним студентом. Его отец работал тогда поваром у богатого купца. Аполлон был его единственным сыном.

Лето Аполлон обычно проводил в Тбилиси, изредка наезжая в деревню. Он всецело окунулся в тогдашнюю кровавую волну: кружки учащихся и рабочих, подпольная литература, агитация в городе и на селе, изготовление бомб, «эксы», террор и многое другое, что в те времена неизбежно приводило или к каторге, или к петле.

Не проходило и дня, чтобы родители слезно не просили его остановиться: «Сынок, сам погибнешь, и нас погубишь... сынок, брось это дело... Сынок, уйди от них...»

Но юноша был непреклонен. В душе у него пылал огонь веры. А в жилах текла молодая кровь.

— Отстаньте, а то уйду и не вернусь, — пригрозил он однажды, и родителям ничего не оставалось, как примириться со своей участью. Но разве сердцу прикажешь — видя, как сын ходит по краю пропасти, они тайне уже оплакивали его, как мертвого.

За домом купца, у которого работал отец Аполлона, был разбит огромный сад. Однажды студент условился встретиться там с другом. Но вместо него в назначенное время пришла молоденькая девушка:

— Тедо вчера арестовали. Думаю, у него были и переданные вами бумаги. Вам надо спасаться.

— А вы, извините, кто?

— Двоюродная сестра Тедо. Меня зовут Даро. За час до того, как его арестовали, он сказал: если со мной что-нибудь случится, сообщи Аполлону и хотя бы на время спрячь его. Идемте к нам. Мама ждет. Комната для вас готова.

Недолго думая, Аполлон, захватив из дому сме-

ну белья и книги, пошел с Даро в район Верэ, где она жила.

Что с ним произошло потом, он так и не смог понять до конца. Он был знаком со множеством женщин и девушек. Сколько их было? Кто знает... Может быть, пятьсот. Возможно, и больше. Но ни к одной из них не испытывал он того, что испытывает мужчина к женщине. Ко всем знакомым девушкам он относился по-товарищески и всех до одной считал равными себе бойцами революционной армии, которая призвана до основания разрушить мир и построить на пепелище новый. Студенту, помыслы которого направлены на перестройку всего мира, было не до того, чтобы замечать, во что одеты разделяющие его взгляды люди — в платья или брюки, мужчины это или женщины. В общей колонне, держащей шаг на революцию, они были все на одно лицо.

И вот в один вечер взлелеянные его средой представления о всеобщем «товариществе» рухнули, и перед ним предстало совершенно не знакомое прежде существо: женщина. Гибкая, сильная, притягивающая к себе. Страсть охватила его безраздельно — со всей силы вцепилась когтями в сердце, будто долго поджидала Аполлона и вот наконец дождалась своего часа. Он уже не мог жить, не видя огненных губ, белоснежных зубов, лучистых глаз и высокого стана...

Днем Аполлон сидел в комнате и ждал, когда наступит вечер. Тем временем Даро усердно выполняла обязанности хозяйки: поминутно заходила в комнату, ухаживала за своим «пленником», как за братом, старалась развлечь его.

Пламенного агитатора и глашатая революции нельзя было узнать — теперь он так же вдохновенно рассуждал о красотах природы, луне и причудах страсти.

У влюбленных вошло в привычку обмениваться книгами. Аполлон мог предложить девушке только «серьезную» литературу — брошюры Маркса, Энгельса, Зомбарта и Плеханова, Даро же давала ему читать романы и стихи. В то время, как Маркс и Энгельс обрастали слоем пыли на подоконнике, Аполлон до дыр зачитывал книги о любви.

С каждым днем любовная горячка охватывала их

все с большей силой. Оказавшись в плену оглушившего обоих чувства, они забыли обо всем на свете. Стали меньше говорить. Почти не ели и не спали. Ходили как одурманенные. Казалось, они отравлены опиумом любви.

Прошло две недели. Однажды — была теплая осенняя ночь — Даро, задумавшись, сидела у окна и смотрела на гору Зедазени. Аполлон ходил взад и вперед по комнате. Потом остановился за спиной у девушки, обнял ее за плечи и стал что-то невнятно бормотать.

Даро попыталась вырваться из его объятий:

— Пусти...

— Подожди, Даро, подожди... Мне нужно тебе что-то сказать, — просил Аполлон.

Даро осталась сидеть, не в силах подняться. Аполлон говорил, как в бреду: шептал слова признания, жаловался, клялся и умолял. Потом остановился, но, не дождавшись ответа, заговорил вновь:

— Не молчи... Скажи мне что-нибудь... скажи... Ты мне веришь?

Даро встала, повернулась к нему. Высокая, стройная, она была почти такого же роста, что и Аполлон. Стояла, нахмурившись, без тени улыбки на губах и большими карими глазами пристально вглядывалась в лицо Раполидзе:

— Почему ты так смотришь, Даро?

Она, аккуратно поправив завернувшийся воротник его студенческого мундира, тряхнув головой, тихо шептала:

— Я тебе верю...

Два тела переплетаются так тесно, словно превращаются в одно целое...

Начались благословенные, незабываемые дни счастья. Даро с Аполлоном часу не могли прожить друг без друга — поминутно встречаясь в каком-нибудь уголке дома — то на лестнице, то в темном коридоре, они заключали друг друга в объятья.

А когда выдавался свободный от домашних хлопот часок, Даро садилась рядом с Аполлоном, тесно прижималась к нему, доверчиво склонив голову ему на плечо, и шептала:

— Помолчи, Аполлон, помолчи!

И тогда в комнате воцарялись ничем не нарушаемые тишина и спокойствие.

— Успокойся, Аполлон, успокойся...

Как-то вечером они пошли гулять, свернули к Верийскому мосту и спустились к реке, берег которой был усыпан мелкой галькой и песком.

И тогда была лунная ночь. Кура шумела и бормотала что-то в глубине, серп луны, утонувший в ее волнах, дрожал, отливая тающим золотом.

Даро набрала камней и стала бросать их в воду. Потом остановилась, с вызовом посмотрела, задрав голову, на яркую луну и начала петь.

— Подтягивай вторым голосом, Аполлон!

— Мо-о... а-а-хо-хо-о... — трубным басом фальшиво вторил ей студент.

— Замолчи! Замолчи! — кричала Даро. — Как ты поешь?! Тебе медведь наступил на ухо!

— Это ты верно заметила, — покорно согласился Аполлон.

Даро пела одна. Спев одну песню, запела другую, тут же придумывая слова. И в песне этой, рвущейся из переполненной чувствами груди, слышался Аполлону страстный призыв.

Потом они слились в объятии, словно кровные враги на поединке.

— Пусти...

— Даро... Моя Даро!

— Отпусти меня!

— Подожди, Даро... послушай. Ведь мы с тобой муж и жена!

— Нет.

— Да! Завтра же пойдем и обвенчаемся. С завтрашнего дня мы будем законными мужем и женой.

— Пусть тогда все будет завтра. А сейчас пусти.

— Нет, не пущу.

Началась борьба. Они боролись, подобно гиенам: со стонами, криками, мольбами, царапая друг друга и доходя до отчаяния. Даро умоляла оставить ее в покое, то дрожала в предчувствии неизбежного, то ускользала из рук, но в ту же минуту сама тянулась к Аполлону, прижималась к его груди и бормотала что-то невнятное. Потом внезапно затихла, только было видно, как одна за другой бегут по щекам слезы. Сил бороться больше не было.

Как мертвая лежала Даро на илистом берегу Куры. Лицо она закрыла руками, стыдясь и луны, и неба, и возлюбленного.

Аполлон сидел рядом и бросал в реку камушки. И тогда понимал он, что именно теперь нуждается Даро в ласке и утешении, однако молчал...

Прошло какое-то время. Даро медленно встала,правила платье, кое-как собрала растрепавшиеся волосы. Потом глухо произнесла одно-единственное слово:

— Пошли.

Аполлон шел за ней с опущенной головой, как пойманный вор. Возле береговых кустов он поравнялся с Даро и взял ее за руку. Мир был восстановлен.

Они время от времени останавливались и целовались. Даро беззаботно смеялась.

Через несколько дней Аполлон станет ее мужем?! Даро теперь будет отзывать на фамилию Раполидзе...

— Итак, с завтрашнего дня я — Раполидзе, да? Ха-ха-ха! Удивительно!.. А где мы будем жить?

— У меня есть комната. Куплю одну широкую кровать и...

Вот странно! До сих пор Даро спала одна. Только изредка в детстве забиралась в постель к матери. А сейчас придется спать с кем-то чужим... Да еще с мужчиной! Кто знает, может, Аполлон волосатый... Хотя... Ну и что из этого? Даро любит Аполлона — любит его бороду, его всего. Кончик бороды так приятно щекочет кожу... Ляжет с ним рядом и станет выдергивать из бороды по волоску! Вот будет потеха!

— Ха-ха-ха, — тихо смеялась Даро.

— Что тебя так смешит, милая?

— А ты во сне не храпишь?

— Из-за этого ты смеешься? Нет, не храплю. А ты?

— Я?! Боже упаси!

Неужели так будет? Даро спит рядом с Аполлоном... Хотя что в этом такого уж странного? Они лягут и укроются широким одеялом...

— Послушай, моя Даро, там, у реки, я не сделал тебе больно?

— Ничуть.

— А ты не обиделась?

— Ладно, оставь.

Конечно, обиделась! А вообще-то... на что обижаться? То, что случилось, должно было случиться. Сегодня это будет или завтра — разве не все равно? Такая участь девушки, Даро — не первая и не последняя. Когда-то и где-то это должно произойти в жизни каждой девушки — в комнате или в поле, в лесу или у реки, — какая разница? Главное, чтоб было хорошо ее мужу! Она счастлива одним сознанием его счастья. Даро больше ничего не надо.

— Аполлон, ты счастлив?

— Да, любимая, да. А ты, ты?

Замолчи, Аполлон, замолчи! Слова только мешают, слова ослабляют чувства. Лучше давай помолчим... Замолчи, Аполлон, замолчи! Помолчи вместе с Даро!

Умолкло все вокруг — и Верийский овраг, и Кура, и высокий месяц, и город внизу. Потом они остановились. Аполлон, как шальной, зашептал:

Даро, ты сияешь,
Как ночи божественный дар — Луна.
И если тучи могут затмить Луну,
То счастье Даро ничто не затмит.
Неужели кто-то посмеет оспорить
Сравнение божественного дара ночи — Луны
С моей прекрасной Даро?!

(Подстрочный перевод).

Ущелье эхом отозвалось на смех Даро и громкий утробный хохот Аполлона, напоминавший гудение колоколов Сиони.

— Как ты сказал? Ха-ха... Еще, повтори еще раз для своей любимой Даро!

И новоявленный поэт снова и снова выстреливал в темноту, как из пистолета, строки своего первого неуклюжего стихотворения:

Даро, ты сияешь,
Как ночи божественный дар — Луна...

Так и вошли они в город — хохочущие и выкрикивающие стихи. Сейчас зайдут домой, и Даро скажет ма-

тери: «Мамочка, это твой зять. Благослови нас», а Аполлон добавит: «Мама, приглашаем на свадьбу». Вот так.

— Мою маму ты тоже будешь называть мамой, да?

— Ну конечно. У меня будут две матери.

Даро, улыбаясь, берет его под руку. «Моя любимая мамочка! Я нашла суженого. Может быть, он тебя не понравится, это человек не твоего круга. Он делает бомбы и даже может убить человека. Но все равно не упорствуй и не мешай счастью своей дочери».

Мама, конечно, удивится, но потом благословит Даро и Аполлона. Через три дня они справят свадьбу. Впереди — нескончаемая радость, непрерывное счастье! И оно не кончится никогда-никогда!

Они подошли к дому Даро и остановились у дверей.

Значит, так. Даро скажет матери: «Мамочка, это твой зять». А Аполлон добавит: «Мама, приглашаем вас на нашу свадьбу». Как она будет поражена, как обрадуется, несчастная! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Ну, давай войдем!

— Стоять! — с темной лестницы резанул по глазам свет. — Руки вверх! Вы — Аполлон Раполидзе? Идите за нами.

И в одно мгновение трое неизвестных вместе со студентом, как призраки, растаяли в темном переулке.

Аполлон исчез. Не проходило и дня, чтобы Даро не стояла у дверей прокуратуры, пытаясь узнать, что с ним, но тщетно. Она подолгу бродила у Метехской тюрьмы и смотрела издали на зарешеченные окна в надежде, что в одном из них мелькнет лицо Аполлона. Горе подкосило Даро, она слегла. Через две недели с трудом встала, и тут пришло известие, что военный суд за хранение бомб приговорил Аполлона к двадцати годам каторги. Болезнь Даро сразу же обострилась. Ей казалось, что она умирает. Улыбка больше не появлялась на ее лице, а руки то искали яд, то хватались за веревку.

Однажды до нее случайно дошли новые известия об Аполлоне, и она, обманув родных, выбралась из дому и помчалась на станцию. Там особняком стояли два вагона, окруженные солдатами и жандармами. Даро, как слепая, слонялась по платформе, с тревогой ожидая отправки заключенных. Вскоре в отдалении пока-

залась группа конвоируемых узников. Слышны были
звон кандалов и крики охранников:

— Посторони-и-ись!

— Прахади-и!

Наконец она увидела Аполлона — высокого, возмужавшего, заросшего щетиной, с гордо поднятой головой, он шел в арестантской одежде неопределенного цвета и с маленьким узелком, перекинутым через плечо.

— Аполлон, Аполлон! Это я!.. Я здесь! — бросилась Даро вперед с такой силой, что прорвала кольцо конвоя, солдаты, не ожидавшие такого натиска, остановились.

Господа, пропустите Даро к Аполлону! Почему столько мужчин с ружьями окружили одну слабую женщину? Разве она может быть опасна? Пропустите ее к арестованному. Вон к тому, в разодранной одежде, у которого дрожат губы и глаза полны слез. Дайте ему возможность крикнуть ей хоть два слова, хоть два, если уж нельзя обнять и поцеловать... Он скажет ей несколько слов, и она сразу же уйдет...

— Пустите!.. Оставьте меня в покое... Пропустите!

— Успокойтесь, сударыня, успокойтесь! — шепнул ей офицер охраны. — Когда заключенные сядут в вагоны, я устрою вам свидание с арестованным.

О, незнакомец, дай Бог вам счастья и долголетия. Как вас зовут? Шалва Швелишвили? Чем сможет отблагодарить вас Даро? Пусть Господь благословит вас и вашу невесту, если она есть. Наверное, есть, иначе что заставило вас пожалеть незнакомую девушку? Примите огромную благодарность от Даро, господин Шалва, спасибо!

Рядом с Даро возле часовых теснились родители и родственники каторжан — одни тихо плакали, молитвенно сложив руки, не в силах отвести затуманенных глаз от милого лица, другие отчаянно рыдали и кричали от боли разлуки, как раненые звери. Они рвались к заключенным, но плотный ряд штыков мешал им, и оставалось только издали выкрикивать скорбные и нежные слова.

Мать Аполлона — пожилая женщина с растрепавшимися волосами — тоже пыталась прорвать кольцо конвоя. Но это ей было явно не под силу. И она громко плакала от бессилия, как ребенок. Старый повар ста-

рался успокоить жену, хотя сам кипел от возмущения. Лишь Аполлон пытался внешне оставаться спокойным — только глаза молили о прощении: «Что теперь ^{теперь} ~~поде-~~ лаешь, сам погиб и вас, несчастных, погубил».

Но вот арестованных начали по одному загонять в вагоны. Даро обежала состав с противоположной стороны и притаилась у входа. Примерно через двадцать минут в дверях показался Швелишвили и поманил ее пальцем. В проходе стоял Аполлон. Рыдая и одновременно смеясь от радости, бросилась к нему Даро:

— Мой дорогой, мой любимый Аполлон!.. На кого ты меня бросаешь?!

Офицер отвернулся. Один из солдат громко закашлялся и рукавом шинели утер слезу.

— Я уже подала заявление... — быстро зашептала Даро. — Слышишь? Я поеду на каторгу вместе с тобой. Слышишь, Аполлон?

— О чем ты говоришь, Даро?

— Да, так будет! И не отговаривай меня. Я так хочу, — выпалила она скороговоркой. — Есть такой закон: если жена или невеста заключенного едет с ним на каторгу, его срок сокращается наполовину. Ты понял?

— Нет, я не хочу этого.

— И не думай меня отговаривать. Я решила!

— Никогда этого не будет! Ты должна беречь себя, Даро!

— Аполлон, послушай...

— Нет, нет и нет, говорю тебе! Я погиб... Со мной уже все кончено... Я обречен... Мне твоя жертва не нужна... ты мне уже ничем не поможешь.

— Помогу! Сокращу срок наполовину!

— Не хочу, говорю тебе. Нет!

— Аполлон! Или я буду с тобой, или умру. Другого пути нет!

— Даро, выслушай мою последнюю просьбу, мой завет: поскорее забудь меня и выходи замуж.

Слова Аполлона ударили Даро прямо в сердце. За что караешь, Боже?! Аполлон все забыл?! Проклял нашу любовь! И ночь на берегу Куры?! Неужели я дала повод думать, что могу забыть его и выйти замуж за другого! Как ты мог, милый, подумать такое? Ах, я са-

ма виновата, несчастная, что ты так плохо меня зна-
ешь! И все же, как ты мог произнести эти слова?

— Твое замужество только обрадует меня. Не-
менно сообщи о своей свадьбе.

Это были последние слова Аполлона.

— Сударыня, прошу вас... заканчивайте, — вырос
между ними Шалва Швелишвили.

Но Даро не слышала его слов. Она, рыдая, судорожно цеплялась за кандалы Аполлона, пятившегося назад. Лишь через несколько минут часовые с трудом оттащили от вагона бившуюся в судорогах женщину, отчаянно хватающуюся за поручни.

Швелишвили, занявшись посадкой очередной партии заключенных, продолжал наблюдать за Даро. Поезд тронулся, и девушка побежала за составом. Она уже начала задыхаться в беге, когда Швелишвили подбежал к ней, схватил за плечи и заставил остановиться.

Через час поручик привез ее на улицу Важа и в полубессознательном состоянии сдал на руки матери.

* * *

За неделю Даро успела надоесть чиновникам судебного ведомства: не проходило и суток, чтобы она не появлялась в здании суда и не умоляла дать ей разрешение отправиться на каторгу к Аполлону. Но тщетно — без свидетельства о браке такое разрешение не давалось.

Надежда увидеть Аполлона придавала ей силы, держала в постоянном напряжении, но стоило Даро получить решительный отказ, как она сразу же сникла, будто из нее выкачали воздух. Запершись в четырех стенах, она отказывалась от еды, не выходила на улицу и избегала встречаться с родственниками и знакомыми, словно решила молодой сойти в могилу.

После отъезда Аполлона Даро, безмерно благодарная Шалве Швелишвили за сочувствие, встречалась только с ним. Новый знакомый ежедневно навещался к ней, чтобы справиться о здоровье, проводить ее к прокурору или губернатору и помочь, чем можно.

— Господи, не знаю, когда и чем я смогу отблагодарить вас, — часто говорила Даро.

— За что?

— Во-первых, за то, что дали мне возможность по-видаться с Аполлоном. Во-вторых, спасли мне жизнь. Если бы не вы, разве я одна смогла бы ходить каждый день в суд? И четвертое — за вашу доброту, за то, что не забываете, приходите, утешаете и ободряете в такое трудное для меня время.

Но вот исчезла надежда поехать в Сибирь, и Даро стала поминутно упрекать Швелишвили:

— Лучше мне было бы с вами вообще не встречаться...

— Тогда не произошла бы встреча с Аполлоном. И то правда...

Так она и жила, допуская к себе только мать и Шалву. Не выходила из комнаты и даже с кровати не вставала. Вечные горе и тишина поселились в ее обители. Приходили врачи и уходили, повторяя:

— Ее убивает меланхолия... выведите ее из дому... развеселите... выдайте замуж.

Но никто не осмеливался заговорить с Даро о замужестве. Все, что могло отвлечь больную от печали — шаги, смех, шутки и даже улыбки, только озлобляло ее. Лишь Шалве Швелишвили удавалось иногда разговаривать с Даро и вызвать на ее лице подобие улыбки.

Шалва был внешне некрасивым, неуклюжим и грубоватым человеком, но с добрым сердцем. Остроумный собеседник, он знал множество забавных случаев и анекдотов, умел подражать голосам животных, его было интересно слушать. Когда Шалва принимался развлекать Даро, в коридор и во вторую смежную комнату набивались соседи. Он подпрыгивал, как жеребенок, умело подражал ржанию лошади, мычанию буйвола; немного полаял, и вот уже все уличные собаки бегут со всех ног к своему новому другу. В комнате раздавались то визг поросенка, то гусиное гоготанье, то щебет и пение птиц. Когда же Шалва видел, что Даро уже заходится от нервного смеха и плача, он с нежностью целовал ей руки и, прощаясь, успокаивал, как ребенка:

— Ну, чтоб не грустить у меня! Вечером приду и погуляем.

И в сумерках гулял с ней, держа за руку, как нянька, прогуливающая едва начавшее ходить дитя.

Вскоре Шалва стал для Даро всем — и братом, и

отцом, и другом, и опекуном. Как-то одна из родственниц Даро, увидев Шалву, назвала его женихом. Но для девушки сама мысль об измене Аполлону казалась настолько дикой, что она, узнав об этом, чуть не поссорилась с Шалвой. Ему с трудом удалось оправдаться.

Однако разговор о возможном замужестве невольно навел Даро на мысли о будущем. Она привыкла к своему новому другу, и он был так нежен, внимателен и добр к ней.. Постепенно Шалва вытеснял из ее сердца образ несчастного каторжанина, уже несколько месяцев не подававшего о себе вестей.

«Поскорей забудь меня и выходи замуж... спаси сама себя», — часто вспоминала Даро последние слова Аполлона. Почему она должна забыть о нем? Неужели Аполлону будет от этого лучше? Разве принесет это облегчение человеку, заключенному на краю земли в Акатуйскую тюрьму в неведомой стране вечных снегов и неволи? Нет, нет! Аполлон лгал, лгал! Известие о моем замужестве не успокоит его, это будет предательством нашей любви! Забыть его? Великий Боже! Как можно забыть свою первую любовь? Неделю счастья, ночь на берегу реки... или прогулку в Верийском ущелье, когда сердце готово было разорваться от переполнявшего его счастья, и Аполлон с вызовом кричал в темноту:

Даро, ты сияешь,

Как ночи божественный дар — Луна...

А потом горе, отчаяние, ужас одиночества... Вокзал, каторжники и... эти слова, преследующие, как кошмар: я погибший, конченный человек. Меня вычеркнули из списка живых. Ты должна подумать о себе. Успокой меня, выходи замуж. Неужели он все забыл?! Нет, нет и тысячу раз нет! В это Даро никогда не поверит!

Шалва Швелишвили... Добрый, милый, родной... Ты — единственный друг Даро. Она никогда не забудет того, что ты сделал для нее. Придет время, и она отблагодарит тебя всем, чем сможет. Но ни ты, ни кто-либо другой никогда не заменят ей Аполлона. Далекий каторжанин — единственный хозяин ее сердца и останется им навсегда.

Милый Шалва Швелишвили, ты хочешь жениться на Даро. Прошу тебя, выбрось эту мысль из головы!

Забудь об этом! Подумай о том, что будет, если это случится. Ведь она тебя не любит... Неужели тебе нужно только ее тело? Зачем тебе жена, в сердце которой любовь к другому? Зачем тебе женщина, которой не захочется тебя обнять? Ты будешь целовать ее, а она вспомнит о другом и представит себе, что целует его, а не тебя...

Но нет, Шалва Швелишвили не привык отступать от задуманного. Пока он молчит и ждет своего часа. Но продолжает незаметно продвигаться к цели.

Он прекрасно видит, что Даро уже готова ответить согласием, но ему нужно, чтобы у нее не осталось и тени сомнения...

С того дня, как Даро потеряла Аполлона, она перестала следить за собой. Ей стало все безразлично. Для чего наряжаться? Ради кого прихорашиваться? Ради Шалвы? Но он свой, домашний, чего его стесняться? Однажды она встретила его полуодетая, в следующий раз — непричесанная. А вскоре и вовсе перестала замечать его присутствие.

Мать и родственники, видя все это, стали прямо заводить с ней разговор о замужестве. Даро молча выслушивала их аргументы и думала: «Он не посмеет».

Но Шалва с каждым днем становился все смелее и настойчивее. Прошло еще немного времени, и однажды он сказал:

— Даро, мы — хорошие друзья. Но давай подружимся еще сильнее.

И Даро поняла, что час настал. Побледнела, растерялась:

— Как?... Зачем?

Шалва, теперь уже не таясь, потребовал ее руки. Он разумно обосновал необходимость своего решения и нарисовал перед Даро картину будущей совместной жизни, осененной мирным семейным счастьем. В заключение он сказал:

— Не отвечай мне сейчас, дорогая. Подумай, взвесь все. Сказать «нет» ты всегда успеешь.

Прошло две недели. Шалва молча ждал. А тем временем родственники удесятирили свои старания, умоляя, убеждая, требуя, чтоб Даро согласилась. И лишь тогда, когда Шалва почувствовал, что ко всему равнодушная Даро уже не может без нервной дрожи выслуши-

вать настойчивые, непрекращающиеся вот уже ¹⁹⁵⁹⁻⁶⁰ ~~вось~~мой месяц требования родных решить вопрос о ее замужестве, он как ни в чем не бывало спросил:

— Дорогая моя, ты не забыла о нашем разговоре?

— Нет... я помню.

— Ну тогда, если ты согласна, мы обвенчаемся в сентябре.

— Мне все равно...

Бывает, капля пробивает камень...

Наступил сентябрь. Шалва повел невесту под венец. Но невидимая тень каторжника с первого же дня встала между ними. Она преследовала их всюду — и на супружеском ложе, и в комнатах, и в городе. Даро казалось, что Аполлон вторгся в их дом и поселился в нем навечно. О нем пытались забыть, его изгоняли из мыслей, но память о нем жила в глубине сознания, как навязчивое страшное воспоминание...

Через год родилась Маринэ. Выполняя просьбу Аполлона, Даро сообщила ему о переменах в своей жизни. Она писала: «Ты, конечно, помнишь, как мы встретились с тобой в последний раз. Наверное, не забыл и того офицера, который пожалел нас тогда и дал нам возможность поговорить друг с другом. Именно за него, его зовут Шалва Швелишвили, я вышла замуж». А в конце, сама не зная почему, написала неправду: «От тебя у меня родилась дочь. Я назвала ее Маринэ. Полюби эту девочку так, как любил меня».

В этой лжи не было злого умысла: Даро казалось, что если она разбудит в Аполлоне отцовские чувства, память об их любви не исчезнет из его сердца. Вложив в конверт фотографию Маринэ и свою, она отправила письмо и стала ждать ответа.

Ждать пришлось долго. «Наверное, каторжанам не разрешают вести переписку», — думала Даро, отправляя десятое письмо. Ответа все не было.

«Мои письма, видимо, не доходят до Аполлона», — решила она в конце концов и разорвала последнее, одиннадцатое письмо.

* * *

На каторге в Акатуе время ползло медленно, как дождевой червь. Иное дело — на воле. Тут оно мчалось, словно вихрь.

Вначале Шалву Швелишвили, будто мячик, бросало по разным районам страны. В конце концов он осел семьей в Ставрополе.

Жизнь здесь текла вяло и размеренно. Шалва терпел неудачу за неудачей. Служебная карьера ему явно не удавалась. Зато Даро обрела спокойствие, стала примерной матерью и женой. Ее единственная радость — Маринэ росла и становилась все больше похожа на мать.

Внезапно с севера подуло ветром революции, который быстро окреп и вскоре превратился в грозный вихрь, все сметающий на своем пути; страна вздыбилась и заметалась, закружилась в этом смерче. Все пошло прахом — и прежняя размеренная жизнь, и семейный уют, все, что стало за долгие годы дорогим и привычным.

В городе были слышны грохот пушек и звуки выстрелов. Пробил час, и Даро с Маринэ увидели, как Шалва и его полк с музыкой и песнями выходят из казарм. Прижав к груди выбежавших ему навстречу женщин, он сказал:

— Не плачьте. Бог даст, еще увидимся. Прощайте... Прощайте!

Сел на коня и догнал ушедших вперед товарищей.

Грохот боев приближался и становился все явственней. Началась паника. Красный вихрь ворвался в город. Бои велись уже на улицах. Через два часа после того, как большевики заняли город, на белоснежной колокольне, высившейся над домами, кровавым пятном расплылся в небе красный флаг. Выстрелы стихли.

Белые отступили к станции. Шалва не появлялся. Преодолев страх, Даро и Маринэ вышли из подвала, где они прятались во время боев. Накинув шаль, Даро вышла на улицу, где солдаты враждующих сторон братались друг с другом, и стала расспрашивать встречаемых:

— Вы не видели Шалву Швелишвили?

— Нет.

— Постойте, его же арестовали. Только что повели.

— Куда? Куда повели?

— Вон туда. Где к стенке ставят.

Даро побежала, хотя не совсем понимала, куда

она бежит. Она долго металась по улицам. Наконец кто-то показал ей на центральную гостиницу.

— Они там.

Часовые ее не пустили. Она обошла здание кругом и вошла во двор. Никто не обратил на нее внимания. Здесь царили такая невообразимая суматоха и беготня, что люди не здоровались даже со знакомыми. На вопрос Даро мужчина указал рукой в сторону входа:

— Это там.

Беспрепятственно войдя в здание, она миглом преодолела длинный коридор и, не постучавшись, наугад открыла дверь одной из комнат. И застыла, окаменев, на пороге. Перед ней стоял Аполлон Раполидзе.

Человек, которого она помнила бедным влюбленным студентом, теперь с головы до ног был облачен в черную блестящую кожу — куртку, брюки, сапоги и башлык с пятиконечной звездой в центре. И вид его, и одежда, и мощная фигура удивительно напоминали средневекового рыцаря в кольчуге, шлеме и блестящих латах. Для полноты картины грозному воителю не хватало только щита и меча в руках. О прошлом напоминала лишь сильно отросшая густая и черная, как смоль, борода.

Раполидзе строго отдавал какой-то приказ двум красноармейцам. Увидев застывшую в дверях Даро, он внезапно смолк, а его простертая вперед рука застыла в воздухе.

— Аполлон... Боже мой! — прошептала женщина.

Она хотела броситься к нему, но ей помешал отгораживавший их друг от друга громоздкий стол, по обе стороны которого, словно часовые, стояли красноармейцы. Почувствовав себя неуязвимым, как в крепости, Аполлон Раполидзе опустил руку и, угрюмо глядя из-за стола на Даро, холодно спросил:

— Что вам угодно?

— Я?.. У меня к вам дело... — и с мольбой посмотрела на подчиненных Аполлона.

Они собрались было уйти, но командир жестом приказал им остаться:

— У меня ни от кого нет секретов. Говорите. Я вас слушаю.

Даро растерялась, заколебалась, но все же **взяла** себя в руки и приступила к делу:

— Моего мужа... арестовали.

— Знаю. Что дальше?

Он знает! Значит, он получил письма, посланные тринадцать лет тому назад в Акатуй! Иначе каким образом ему стало известно, что Даро — жена Швелишвили? Но если Аполлон прочел ее письма... Стоило ей взглянуть на Раполидзе, как затеплившаяся было надежда тут же угасла.

— Ну и что же дальше? Я спрашиваю, что вам угодно? — твердил он, теряя терпение.

— Я умоляю вас... Он ведь ни в чем не виноват!

На губах Аполлона появилась показавшаяся ей металлической усмешка. Несколько лет назад Даро не могла бы себе и представить, что у него может быть такое выражение лица.

— Ни в чем не виноват?! Гм... хорошо. Но ваш муж, кажется, был командиром полка, не так ли?

— Да, но...

— Но он убивал наших бойцов!

— Не знаю... Умоляю вас...

Аполлон резко прервал Даро на полуслове:

— Просьбы и мольбы бесполезны — никого вы тут не разжалобите. И без того все ясно. Не понимаю, почему вы зря беспокоите и себя, и других...

Ах, вот как?! Значит, это твое последнее слово?! Вот, оказывается, каким ты стал, Аполлон! Как быстро забыл ты прошлое! Тебе ничего не стоит уничтожить моего мужа, растоптать все, что было.. Как тебе удалось так легко избавиться от воспоминаний?!

Даро выпрямилась. В ее глазах зажглись огоньки гнева, а в голосе зазвучал металл:

— Господин Аполлон!

— Аполлон Северьянович! — поправил ее Аполлон.

— Господин Аполлон Северьянович!

— Следует говорить не господин, а товарищ! — вновь поправил ее раздраженный Раполидзе.

— Ну уж нет! — воскликнула женщина. — Лично вы — не мой товарищ.. уже не мой товарищ! — и повернулась к стоявшим в недоумении красноармейцам. — Знайте, у меня от этого человека ребенок! Когда его посылали на каторгу, я хотела поехать за ним. Но он

запретил мне это делать и сказал на прощание: выходи замуж и забудь меня. Но я не послушалась его и несколько месяцев умоляла прокурора дать мне разрешение отправиться вслед за ним — хотела сократить ему срок! Но разрешения мне не дали — мы не были обвенчаны. Только тогда, когда у меня исчезла всякая надежда на то, что я смогу облегчить его страдания, после тяжелой болезни я в конце концов вышла замуж, найдя отца для его ребенка.. Муж помог мне вырастить нашу с Аполлоном дочь, а теперь... — смолкла Даро, не в силах продолжать.

«Великий Боже! Сделай так, чтобы моя ложь подействовала на него! Ты ведь понимаешь, что это ложь во спасение, видишь, что другого выхода у меня нет!» — молилась про себя несчастная.

— Хватит, замолчите! Прекратить разговоры! — внезапно заорал Аполлон, со всей силы ударив кулаком по столу. — То, что сказала эта женщина, — правда...

«Уф.. Наконец!» — отпустило напряжение Даро.

— Но... — повернулся к ней Аполлон, оскалив рот в злобной усмешке, — до тебя, несчастная, никак не доходит, что существует такое понятие, как революционный долг! Пойми же в конце концов!

Даро остолбенела. Меж тем Аполлон, у которого глаза налились кровью от ярости, продолжая ударять кулаком по столу, тяжело бросал ей в лицо слова, обжигающие, как куски раскаленного железа:

— Слышала, что я тебе сказал?! Ты не понимаешь, не способна понять, что такое революционный долг!

Она и в самом деле ничего не понимала. Смотрела то на одного красноармейца, то на другого и в недоумении разводила руками, бормоча что-то, как подсудимая:

— Правда, я ничего не понимаю... Совершенно ничего не понимаю.

— И не поймешь! — с ненавистью заключил Аполлон. — Никогда не поймешь. Если б на месте твоего мужа был мой родной брат, я бы и его расстрелял без промедления.

Слово «расстрелял», как пуля, ударило Даро в самое сердце.

— Слышала, что я сказал? — продолжал пытку

человек, которого она любила когда-то. — И теперь не поняла? Будь ты в чем-нибудь виновна, то же было бы и с тобой. Вот что такое революционный долг!

Раполидзе уже было не остановить. Твердо, убежденно защищал он свою честь революционера от незначительной, не доросшей до понимания классовой борьбы женщины, движимой исключительно личными интересами и пытающейся разжалобить его, красного командира (!), напоминанием о родственных с ним связях:

— По сравнению с тем великим революционным долгом, которому мы служим, все другие человеческие обязанности настолько мелки и ничтожны, что для нас они не существуют. Это мое последнее слово!

С ужасом смотревшей на Аполлона Даро в какой-то момент показалось, что стоящий перед ней человек — не грозный рыцарь в железных латах, а слабое, ничтожное существо, с головы до ног опутанное цепями долга, цепями, так глубоко въевшимися в тело, что содрать эту железную кольчугу можно только с кожей.

Даро так толком и не поняла, какая связь между судьбой ее мужа и революционным долгом, выполнение которого столь необходимо для счастья всего человечества. Только сердце подсказывало, что все кончено. Ей удалось убедить Аполлона в том, что Маринэ — его дочь, но он не раздумывая пожертвовал своим отцовским чувством ради какой-то призрачной идеи. Нет, он не спасет Шалву! Даро казалось, что перед ней выросла неприступная стена, от которой шел пронизывающий холод безнадежности. И грозным стражем этой стены был он, ее первый мужчина — человек не из плоти и крови, а из твердого металла.

Но если Аполлона нельзя поколебать призывами к человечности, то, может быть, слезы женщины смягчат его сердце...

— Аполлон! Я умоляю тебя! — униженно просила Даро, захлебываясь от рыданий. — Это ведь твой ребенок!

— Не беспокойся, о своем ребенке я позабочусь...

Обойдя длинный стол, она вплотную подошла к Аполлону и вдруг, остановившись на мгновение, рухнула перед ним на колени:

— Аполлон... Аполлон... Что ты делаешь со мной, Аполлон! — кричала она, целуя ему руки.

Раполидзе отдернул руки и попытался отодвинуться от Даро, но она поползла за ним следом, обняла его колени и, как в бреду, пробормотала:

— Ты так быстро забыл меня?.. Все забыл?

— Забыл, да, забыл! — неожиданно тонким голосом закричал Аполлон, вырвался из ее объятий и бросился к дверям, повторяя: — Да, да! Забыл, говорю тебе, забыл!

Рванув дверь, он выскочил из комнаты.

Красноармейцы разом подхватили Даро, помогли встать на ноги и, успокаивая, повели к дверям. Выведя ее на улицу, они вернулись обратно. Аполлон Раполидзе сидел за столом, закрыв лицо широкими ладонями. Подчиненные вышли, неслышно прикрыв за собой дверь.

Кто-то, сжавшись, помог Даро дойти до дому. Она легла.

А Раполидзе со своим отрядом в тот же вечер бросился в погоню за белыми.

На следующий день Маринэ понесла отцу передачу... и принесла ее обратно. Откуда было знать двенадцатилетней девочке, что значит отказ тюремщика взять передачу... Она вошла в комнату и сказала:

— Не приняли.

Даро резко приподнялась на кровати:

— А у других, доченька? У других взяли?

— Взяли...

— Взяли...

Несчастная женщина рухнула без чувств.

Так Даро стала вдовой.

IV

И вот через шесть лет они встретились вновь. Аполлон стоит, прислонясь к стене, и нелепо улыбается. Даро сидит в кресле и никак не может оторвать от него глаз. Ее бьет дрожь, а в голове вихрем проносятся тревожные мысли. Что там сказала Маринэ? «Это мой жених»?! Может быть, я ослышалась? Мне, наверное,

показалось! Неужели реальность—этот скалящий зубы призрак былого?

— Аполлон, что случилось? — повторяет Маринэ и трясет директора за руку. — Ты что, устал?

Да, ты права, Маринэ: Аполлон, конечно же, устал. И больше ничего. Не бойся и не пугайся. Сейчас он придет в себя и все будет хорошо. Успокойся, Маринэ, успокойся.

— Мамочка, а с тобой что случилось?

Что случилось с Даро? Ничего, доченька, так же, как и с ним, ничего. Подай маме воды, Маринэ. Она выпьет и придет в себя.

— Ты бледная, как смерть. Тебя расстроило то, что я опоздала, да?

Конечно, расстроило. Сердце матери изболелось в ожидании.

— И потом, ты так неожиданно преподнесла мне эту новость...

Да, Маринэ. Так и есть, именно так. Для нее сообщение о твоём замужестве было настолько неожиданным, что ей стало плохо. Это и есть настоящая причина, только эта, и больше ничего. Другой причины нет. Не волнуйся, Маринэ, не бойся!

— Успокойся, доченька. Со мной все в порядке, я ничего... Слабость прошла.

— Плохо же началась моя помолвка, — печально улыбается Маринэ, переводя взгляд с матери на Аполлона.

— Ну почему же, доченька, почему? — через силу бодрится Даро. — Меня очень радует твоя новость. Очень ра-ду-ет! Почему ты до сих пор мне ничего не говорила?

— Потому, что все это произошло только сегодня!

— Хотя бы фамилию этого человека назвала мне раньше...

— Но когда бы я успела сделать это, мамочка? Ты же только вчера приехала. Мы виделись всего несколько минут. Говорю теперь — это Аполлон Раполидзе, наш директор.

А директор тем временем стоит у стены, уставившись на скатерть из красного бархата, покрывающую стол.

— Если уж мы заговорили о фамилии, то я долж-

на сказать, — волнуясь, говорит Маринэ, глядя на Аполлона, — что скрыла от тебя одну вещь. Надо было сказать об этом раньше, но я не решалась. Я хочу, чтоб ты сейчас узнал правду. Выслушай меня, и если сочтешь, что я виновна, я безропотно приму твое осуждение...

— Говори, — глухо сипит Аполлон.

— Мне пришлось сказать тебе неправду. Мою маму зовут не Эленэ, а Даро. И мы не Шопуридзе, а Швелишвили. — Маринэ хватает Аполлона за руку и, придвинувшись, заглядывает ему в глаза.

Вопреки ее ожиданиям лицо Аполлона не выражает никакого удивления. Лишь губы вновь искажаются в кривой усмешке. «Знаю», — чуть не вырывается у него, но он вовремя берет себя в руки и интересуется:

— Что заставило вас изменить фамилию?

— Причина проста: отец мой был полковником царской армии... его расстреляли красные...

Аполлон вздрагивает, быстро отделяется от стены и подходит к окну.

После гибели Шалвы Даро с дочкой осталась совершенно без средств. Чтобы не умереть с голоду, надо было работать. Поначалу Даро пекла торты, а Маринэ их продавала. Но вскоре они лишились и этого заработка. Надо было устраиваться на службу. Маринэ несколько раз находила подходящее место, но, чтоб поступить на работу, приходилось заполнять анкету с такими вопросами о семье: «Кто был ваш отец? Где служил? Был ли он крестьянином, рабочим, князем или дворянином?» А отец Маринэ был одновременно и дворянином, и полковником, и белогвардейцем. Маринэ сторонились, как чумной.

Даро с Маринэ вернулись из России в Грузию. Девушке удалось поработать в Кутаиси, потом в Батуми, но везде в конце концов узнавали о ее происхождении и указывали на дверь. Было ясно: для того, чтобы заработать на кусок хлеба, необходимо самим забыть свое прошлое и стереть его из памяти людей. Одна знакомая помогла им: достала удостоверения личности и оба заполнили на фамилию двоюродных братьев Маринэ. С тех пор она стала Шопуридзе...

— Ты понял, Аполлон? — с тревогой смотрит де-

вушка на широкую спину стоящего лицом к окну директора.

— Понял, — не оборачиваясь, глухо бормочет в ответ Раполидзе.

— Ну и что ты на это скажешь?

Что может сказать Аполлон? Он-то знает, что такие случаи нередки, особенно в последнее время.

— Так, значит, ты не сердишься на меня?

— Нет, не сержусь.

Он отходит от окна и садится на стул. В комнате повисает молчание.

— Маринэ, доченька, пойдн, дорогая, купи что-нибудь к чаю.

— Хорошо, — оживляется Маринэ. — Устроим помолвку, да?

— Я с тобой, — пытается встать директор, но Даро глазами приказывает ему остаться:

— Вы побудьте здесь. Зачем вам беспокоиться?..

Захватив сумку для продуктов, Маринэ выходит из комнаты. Вот стучат по лестнице ее каблучки. Внезапно девушка останавливается — забыла деньги. И на цыпочках идет обратно. Почему она крадется, как вор, Маринэ не понимает. Девушка тихо проходит темный коридор и останавливается у дверей.

Тем временем Даро, с трудом встав с кресла, спешит объясниться с Аполлоном. В ее голосе звучит металл:

— Что вам угодно в моем доме?

Аполлон тоже поднимается, с трудом выпрямив спину, и быстро отвечает вопросом на вопрос:

— Скажи... скажи скорее, чья дочь Маринэ — моя или его?

— Его.

— Правда?.. Ты говоришь правду?

— Я говорю правду. Что дальше?

Аполлон с облегчением вздыхает, будто с сердца упала тяжесть. На лице его вновь проступает румянец. Но от волнения у него так слабеют ноги, что он снова падает на стул, вытирая холодный пот со лба.

— Что же дальше? — холодно повторяет Даро. — Дальше... Что вам угодно?

— Подожди, Даро, подожди. Сколько лет Маринэ?

— Еще нет восемнадцати. Посчитайте сами.

Аполлон вспоминает слова девушки: «Скоро мне исполнится восемнадцать». С трудом собравшись с мыслями, он считает на пальцах, потом удовлетворенно улыбается и уже примирительно говорит Даро:

— Да, ты права, конечно. Но почему ты написала на каторгу, что дочь — от меня?

Лоб Даро прорезает скорбная морщинка:

— Неужели вы не поняли, почему я это сделала?

— Нет, не понял.

— И сейчас не понимаете?

— Нет, не понимаю.

— Тогда не стоит ничего объяснять. Вы все равно не поймете.

— Да нет, я начинаю догадываться... Там, в Ставрополе, ты хотела меня обмануть! Убеждала, что Маринэ — наша дочь...

— Успокойтесь, тогда вы все сделали, как посчитали нужным. Вам было безразлично, чья дочь Маринэ.

Аполлон вспыхивает и вскакивает со стула.

— Эта женщина никогда не поймет, что такое революционный долг! Я не мог поступить иначе! Ты хоть понимаешь, что значит слово «обязан»? Я был обязан! О-бя-зан!!!

— И тогда не понимала, и сейчас не понимаю. Никогда не пойму и не прощу! Но хватит об этом. Спрашиваю в третий раз — зачем вы явились в мой дом? Что вам угодно?

Аполлон опять без сил падает на стул. А затем, утерев холодный пот со лба, тихо, но внятно произносит:

— Я люблю Маринэ.

— ...Любишь так, как любил меня, да?!

Слова Даро ударяют Аполлона по лицу, как пощечина. Он опять вскакивает и бормочет сиплым от волнения голосом:

— Да, Даро, именно так. Так люблю, как любил тебя...

— Так же сильно, как тогда... в Ставрополе, в гостинице?

Голос пропал, но он продолжает хрипеть в бессильной злобе:

— Чего ты все тычешь мне в нос этот проклятый Ставрополь? Никак не успокоишься?

Холодно смотрит Даро на директора: она будет бороться до конца, подобно иступленной гиене, у которой отнимают детеныша:

— Что, не нравится?! Не хочется лишний раз вспоминать Ставрополь?

— Почему ты ничего не рассказала обо мне дочери?

— Да, это моя вина, я жестоко расплачиваюсь за свою ошибку. Расскажи я о вас Маринэ заранее, не было бы сегодня этой встречи. Но лучше кончим все сейчас, до ее возвращения...

— Что значит «кончим»? Чего ты хочешь от меня?

— Ты должен немедленно написать ей записку и уйти. Уйти и никогда больше не возвращаться!

Аполлон Раполидзе вскакивает, как ужаленный:

— Что?! Я должен оставить Маринэ?! Забыть ее? Уйти навсегда?!

Ну уж этого Даро не дождется! Аполлон любит Маринэ и не собирается с ней расставаться!

— Ты сейчас же напишешь письмо, а не то... — в голосе матери слышится угроза.

— А «то»? Что «а то»?

— Ах, ты не понимаешь?! Тогда слушай: Маринэ сегодня же узнает о том, что произошло в Ставрополе! Теперь понял?!

О, коварная женщина! Беспощадная змея! Как же ты вывернула все наизнанку! Это какую же ядовитую стрелу решила ты запустить в Раполидзе!

— Меня сделал вдовой, Маринэ — сиротой, а теперь дочь убитого тобой человека хочешь взять в жены?! — не унимается взбешенная женщина.

За дверью раздается слабый стон, но ни Даро, ни Аполлон, разгоряченные поединком, ничего не слышат...

— Если уж на то пошло, придется тебе рассказать и о себе, — злорадно бросает Аполлон.

— О чем? О том, что я была твоей невестой?

— Не невестой, а любовницей, моей любовницей!

За дверью опять раздается стон.

Но мать не слышит — она отражает новый удар Аполлона.

— Скажу, и это скажу! Скажу, что мы любили друг друга. Должны были пожениться... И это произошло случайно. Да, раньше, чем... Ну и что? Ты напрас-

но думаешь, что дочь осудит меня. Маринэ — женщина и легко поймет и простит женщину. Я все расскажу ей, обязательно расскажу. Ничего не скрою!

Прослушав монолог Даро, Аполлон внезапно успокаивается. Нет, так просто с ним ей не справиться. У него приготовлена такая бомба...

— Даро, тебе лучше эту тему не трогать... — спокойно говорит он. — Не то убьешь Маринэ. — И, немного помолчав, добавляет: — Там, во Мцхета, сегодня.. сегодня случилось... все...

Это был конец.

Даро застонала, как раненая.

В ту же минуту за дверью кто-то вскрикнул.

Даро и Аполлон бросились к двери.

В коридоре у порога комнаты навзничь лежала Маринэ, беспомощно раскинув руки.

* * *

— ...Вот как это было, моя девочка, — заканчивает мать свой рассказ. — Я тебе все рассказала. Ничего не утаила. Ты должна понять меня. Если считаешь, что я в чем-то виновата, скажи.

На дворе уже утро. Врач ушел в полночь, сказав Даро: больной нужен покой. Но Маринэ не успокоилась, пока Даро не рассказала ей все.

— Если я в чем-то виновата, прошу, прости меня, — повторяет Даро и ждет приговора.

В ответ Маринэ дрожащими губами целует руки матери.

Нет, мамочка, нет. Ты ни в чем не виновата. Как посмеет осудить тебя Маринэ, когда с ней вчера произошло то же, что с тобой много лет назад?! Маринэ не ищет виновного. Так уж повернулось колесо судьбы, что она оказалась под ним.

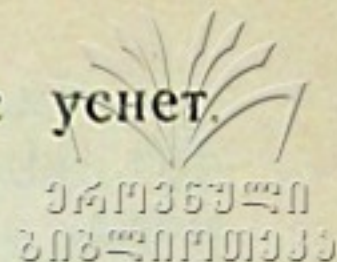
Они плакали вместе так, как плачут горькие сироты: громко, навзрыд, обливаясь жгучими слезами.

— Доченька, родная моя, постарайся все забыть. Забудь. И все будет хорошо, — просит Даро.

Да, мамочка, да. Маринэ выбросит все из головы и вырвет его из сердца.

— А теперь засни, радость моя, засни.

Хорошо, мамочка, хорошо. Маринэ сейчас уснет.
Иди ложись и ты.



Петухи пропели уже в третий раз.

— Да, заснем... обе заснем.

И Маринэ закрывает глаза.

Вскоре Даро засыпает — дочь слышит ее ровное дыхание.

«Забудь, забудь», — будто раскаленный молоток стучит в голове Маринэ. Мама сказала это так буднично и спокойно, как вчера утром просила: подай мне булавку...

Нет, мама права: надо постараться все забыть. И Аполлона... И мать, которая невольно встала на ее пути — еще тогда, когда Маринэ не было на свете... И лунную ночь у реки... Но как забыть, как пережить позор... заглушить неутихающую боль...

И в голове Маринэ завертелся, закружился огненный вихрь.

О, Маринэ знает, как все забыть, как все стереть из памяти! Для этого не надо ни мучиться от стыда, ни бороться с воспоминаниями.

В ночной сорочке, с распущенными волосами стоит она у кровати Даро, над которой висит книжная полка, а на полке — маленький пузырек. Маринэ бесшумно достает его с полки.

Даро дышит спокойно и ровно.

— Спи, мама, спи... будь, дорогая, спокойна... все хорошо... спи спокойно, моя любимая мамочка, спи...

И Маринэ вновь ложится в постель, крепко сжимая в руке небольшой пузырек. В нем — ее последняя надежда.

А в голове по-прежнему бушует огненный вихрь.

— Вовсе это не трудно. Одна секунда — и все кончено... И раскаленный молоток прекратит свой непрерывный стук. От матери она знает: это лекарство снимает боль и помогает уснуть. Выпьешь его, и начинаешь видеть сказочные сны.

«Прощай, мамочка, прощай! И ты, Аполлон... Хотя... оставайся с миром...»

Склянка падает из рук Маринэ, звякает и катится по полу. Спокойное дыхание Даро прерывается.

«Нет, мамочка, нет! Не надо тебе просыпаться раньше времени. Спи, дорогая, спи спокойно...»

Как хорошо... Ничего не беспокоит, ничего не болит. На Маринэ исходит покой. Голова в легком тумане, а сердце медленно слабеет, слабеет...

«Спать, спать... Будь покойна, мама, будь покойна...»

И ты успокойся, любимая моя доченька..

Усни, Маринэ...

Усни...

* * *

«Бенц» с сопением и хрипом поднимается по улице Важа. И вдруг останавливается, продолжая гудеть.

Аполлон поднимается по лестнице с такой скоростью, будто убегает от преследователей. Несколько минут тому назад секретарша зашла в кабинет:

— С Шопуридзе что-то случилось.

Он помчался к авто.

— Скорее, Симон, скорее!..

В центре комнаты стоит кровать. В белоснежной постели мирно спит бледная Маринэ. Две длинные косы, лежащие поверх одеяла, обрамляют рамкой прекрасное лицо.

В головах у мертвой в оцепенении сидит мать.

Аполлон врывается в комнату, как напуганный чем-то буйвол, и сразу же пятится назад, будто ударяется головой о стену. Потом начинает возбужденно махать руками, шевелить губами, пытается что-то сказать. Но не может произнести ни звука. На лице его — выражение ужаса и страха. Еле волоча ноги, он приближается к кровати и в изнеможении опускается на стоящий рядом стул...

Минуту Даро и Аполлон смотрят друг на друга так, будто увиделись впервые.

Потом директор переводит взгляд на Маринэ. Он долго вглядывается в ее лицо: потускневшие губы обиженно полуоткрыты, кажется, что она жалуется на что-то...

Раполидзе сидит неподвижно. Затем поднимает дрожащую руку и кладет ее на лоб покойной. Но в ту же секунду Даро, сверкнув глазами, злобно хватает руку Аполлона и убирает ее со лба дочери.

Они вновь смотрят друг на друга так, словно уви-

делись впервые. Лицо Даро выражает гнев и бессильную ярость, облик же директора меняется прямо на глазах: кажется, что стальная цепь призрачного долга рухнула к его ногам и на его лице стали вырисовываться человеческие черты. Какую-то детскую покорность судьбе изображает вся его фигура.

Через некоторое время он поднимается и, сутулясь, идет к двери, с трудом волоча негнувшиеся ноги. Он стал заметно ниже ростом, бычья шея его скривилась, да и плечи кажутся не такими широкими. Он идет медленно и долго, будто тяжелая железная цепь оттягивает ему ноги.

С необыкновенной осторожностью открыв дверь, словно боясь малейшего скрипа, выходит и скрывается.

Через несколько минут в том же коридоре, где вчера лежала Маринэ, раздается выстрел.

Покойная, будто ждала выстрела, неожиданно смыкает бескровные губы.

Все кончено.

Перевод Анны ФАЛИЛЕЕВОЙ



* * *

Рвет холодный ветер черепицу с крыш...
Парк пытается от ветра птиц укрыть...
Но последний и озябший сорван лист...
Пятна бурые по небу растеклись...
И за листьями не видно мокрых лиц...
Море стонет, ветер тонит нас на пирс...
Птичий крик повис над пирсом: «Кари крис!...»¹
Гнется дерево со скрипом: «Кари крис!...»

Рвет холодный ветер черепицу с крыш...

* * *

Что мне у жизни просить беспредельного —
В славе прожить ли?.. Пропавшим ли без вести?..
Жди. Ветер песню сплет колыбельную,
Бросив дитя на крыльце неизвестности...

Лишь ожидание... Что беспредельнее? —
Только молчание — вечное, тайное...
В храм приходи. Смотрят досками древними
Храмы на нас, посвящая в молчание..

* * *

..И, однажды услышав дыхание тьмы,
Он пошел в заповедные зоны...
Но зарею восток полыхал — и отвык
Он встречать ежедневные зори; —

¹ Строка из стихотворения Г. Табидзе. Дословный перевод: «Ветер веет».

Тьму увидеть хотел он, забыв, что глаза
Видят только при свете. А после,
Поняв это, чуть-чуть темноту развязал —
Встал на лунного света полоску.



Но грозила стать пропастью та полоса...
И дышали прохладой страницы...
И тогда он себя полоснул по глазам —
И увидел. И в ней растворился..

Перевод Юрия ЮРЧЕНКО



Важа ГИГАШВИЛИ

Восхождение мути

Предлагаемая статья написана в марте 1990 года. Ввиду определенных обстоятельств ее публикация задержалась, а с июля того же года статья лежала в редакции газеты «Литэратуруლი Сакартвело». Обещали напечатать, но каждый раз откладывали. По чистосердечному признанию сотрудников редакции, они боялись... Удивительно, но факт, что еще в период коммунистического господства газета испытывала террор «Круглого стола». Мне прямо сказали: «Устроят погром...» (Несмотря на то, что в этой статье «Круглый стол» прямо не упоминается..., как убедится читатель. Значит, сотрудники опасались того, что в феномене МУТИ «Круглый стол» узнает себя и обидится. Обидится и не постесняется выразить своей обиды). Но, несмотря на это, сотрудники считали нужной публикацию этой статьи... Уже прошла предвыборная кампания, настал день выборов, а статью так и не напечатали...

Еще летом 1990 года и позднее эту статью прочли более ста человек, могущих подтвердить, что текст печатается без изменений...

В одной из своих недавно опубликованных статей господин Джансуг Гвинджилиа высказался по поводу того, что грузины не последуют только за «Круглым столом» или только за «Координационным центром». Нация последует только за согласованным, объединенным совместно разработанной концепцией национальным движением...

Справедливая мысль, но хотелось бы добавить, что национальное движение не исчерпывается «Круглым столом» и

«Координационным центром», пусть даже и объединенными. В этой полемике почему-то часто забывают о существовании и других политических сил. Среди них следует отметить третий блок, в котором объединены республиканско-федеральная партия, либерал-национал-демократическая партия, партия зеленых, общество «Даси» и другие. Они не часто попадают в центр общественного внимания, но тем не менее ими проделана довольно серьезная и солидная работа для создания концепций пути Грузии и ее будущего обустройства. Я не намереваюсь ни восхвалять, ни умалять достоинств различных партий, но наводит на глубокие раздумья тенденция игнорирования умственной деятельности и повальное увлечение «уличной политикой», митингово-лозунговой истерией и столкновениями. Это весьма незавидный признак нашего общественного положения. А определяет это положение во всем обществе и в самом национальном движении нарастающий феномен, который условно назовем «ВОСХОЖДЕНИЕ МУТИ».

Ни окончательная оценка этого явления, ни решение этого вопроса не могут быть делом двух-трех человек.

Я хочу всего лишь поставить вопрос и считаю необходимым, что в обсуждение этого вопроса должно включиться как можно больше представителей нашей общественности.

Во все времена, в каждой нации существовала, существует и будет существовать темная и грязная МУТЬ. Ее главным отличительным свойством является слепое, инстинктивное, извечное озлобление уродства против совершенства, ничтожества против возвышенного. Но проблемы быть ли ей или не быть не существует (она непреходящий компонент всякого общества), проблемой является ее пропорция в составе общества. Проблема — восхождение-невосхождение МУТИ. Проблема — создание-несоздание условий подобного восхождения.

История помнит много примеров восхождения МУТИ, но то, чего достиг на этом поприще русский большевизм, пока еще недостижимый рекорд в истории человечества. Ленин обратился к МУТИ с прямым призывом: Они (т. е. нормальные люди) виновники вашего ничтожества и невежества, громите их и будете осчастливлены!.. Разгромили и победили (это показатель высокой концентрации МУТИ в обществе). И создано царство зла или той же МУТИ. Ничтожество и невежество не способны создать доброе и возвышенное. Увидев доброе и возвышенное у других, непременно подумает по своей темной логике: раз у них это есть, значит, это отнято у нас... Надо отнять обратно у этих негодяев и у нас опять это будет!..

И семьдесят лет царство зла боролось за усиление своего господства и расширение сферы влияния. Пролило море крови, посеяло несчастья и раздор почти на половине планеты, но так и не смогло достичь ни доброты, ни совершенства. («Там хорошо, где нас нет, когда придем, становится плохо...»).

Грузия изначально попала в сферу влияния царства зла. Начиная с февраля 1921 года, русский большевизм произвел в Грузии невиданную селекцию. Никогда в ходе нашей кровавой истории не проводилось подобного методичного, масштабного, непрерывного уничтожения лучшего генофонда нации... И также никогда (даже в рабовладельческую эпоху) не было подобного активного и масштабного участия самих грузин... Началось невиданное тотальное восхождение «грузинской МУТИ». Быстрая концентрация этой МУТИ произошла в рядах комсомола и ЧОНа, партии и ЧК. Злу подбросили идеологический лозунг, укрепили тыл русским штыком и натравили на цвет нации. Селекция проводилась методически и беспрепятственно. Процесс этот был ничем иным, как культивированием МУТИ. Поднявшаяся МУТЬ уничтожала здоровый генофонд, а терроризированную порабощенную часть же прямо направляла на путь ПОМУТНЕНИЯ.

Цель, казалось, была достигнута, селекция завершилась успехом. Установилось ЦАРСТВО МУТИ — прочная система тоталитаризма, рабская иерархия. Ритуалы массовых жертвоприношений людей для возвеличивания ЦАРСТВА МУТИ повторялись из года в год.

Но у природы свои законы. В здоровых генах крепкая сила. Можно лишить мужчину глаза и руки, то же самое проделать с его женой, но ребенок рождается вновь с двумя глазами и двумя руками. И придется изуродовать множество поколений, прежде чем удастся вывести безглазого и безрукого человека...

Наша национальная почва, тщательно забетонированная, заасфальтированная сверху, все равно давала ростки жизни. Кое-где появлялись трещины и сквозь бетон показывались зеленые побеги. Бетонное покрытие требовало безустального внимания и залившие бетон тщательно работали над заделыванием трещин на протяжении десятилетий. Природа же взяла свое, у повелителя иссяк и бетон, и силы, его заливающие. Бетон потрескался и разошелся, и вверх потянулись зеленые побеги свободы.

Сегодня каждым генетически здоровым грузином движет

одна мысль: ни в коем случае не допускать искажения, попра-
ния, удушения свободолюбивых побегов нации...

СВОБОДНАЯ НАЦИЯ — это величайшее понятие и ни в
каком случае не означает только политической свободы. Полити-
ческая независимость, в первую очередь, важнейшее и обяза-
тельное условие свободной нации, но СВОБОДНАЯ НАЦИЯ
подразумевает и возвышенный, свободный дух каждого сына
отечества, то есть полноценных людей... Созданное ими сво-
бодное общество — независимое национальное государство.

Примечательно, что в первые дни пребывания у власти
Беназир Бхуто сказала интервьюеру следующее: «Известно,
что народ, лишенный права собственного волеизъявления, по-
этапно пройдет три состояния: озлобления, страха и, наконец,
политической апатии. И чем дольше длится политическая апа-
тия, тем больше разлагается дух народа. От железа остаются
изъеденные ржавчиной жалкие осколки. И смогу ли я после
девятилетнего тотального оцепенения возродить дух моего на-
рода...»

А что же тогда говорить нам? Сколько раз по девять лет
длилось наше порабощение!..

Непременно нужно отметить, что национально-освободи-
тельное движение Грузии в эти полтора года сделало огромный
шаг в возрождении и восхождении сознания СВОБОДНОЙ
НАЦИИ.

А после великолепно проведенной акции в ноябре 1988 го-
да этот процесс пошел по линии восхождения и вызвал пора-
зительные изменения. Это сильный и светлый процесс, и не-
смотря на окружающую его опасность и горечь, он вызывает
в каждом грузине чувства необычайной возвышенности и ра-
дости...

Но каким бы неприятным ни был разговор об этом, мы
все же должны хотя бы несколькими словами упомянуть о
явлении, зародившемся в лоне национального движения и все
больше проявляющем признаки отличительных свойств МУТИ,
и если мы закроем на это глаза, возможно, в скором будущем
это явление создаст серьезную угрозу как национальному дви-
жению, так и всей Грузии...

Позвольте мне вернуться немного назад и привести отры-
вок из моей статьи, опубликованной в прошлогоднем июньском
номере «Литэратурули Сакартвэло». Говоря о значительной
роли в жизни нации борющегося радикального крыла («не-
формалов»), я продолжал: «...но не только апология была моей
целью, но и следует отметить весьма неприятную тенденцию, про-

явившую себя на определенном этапе этого движения. Речь идет о том, что в менее образованной части молодежи явно выразилось стремление к новому вождю.... И когда появляется болезненное желание представлять кого-либо сверхгероем, оказывать ему безграничное доверие и фанатически поклоняться, все противоположные ему мысли объявлять предательскими, согласитесь, что на исходе двадцатого века подобные стремления постыдны для цивилизованного общества. Тем более они в корне противоречат грузинскому духу и психологическому типу. Мы боремся против диктатуры и не уступим никому, кто попытается создать собственную диктатуру, пусть даже под лозунгом «Да здравствует свободная Грузия!». Свобода и диктатура несовместимы и взаимоисключают друг друга.

Когда увидишь, как ты подчинил себе самыми сокровенными лозунгами массу и увлек ее за собой, когда поймешь, что произошло подсознательное идентифицирование содержания лозунгов с твоей личностью, вот тогда ты сможешь делать с этой массой все, что тебе заблагорассудится, и если у кого-либо возникнут противные тебе мысли, ты объявишь его предателем этих святынь лозунгов...

Это настолько примитивная, набившая оскомину, мерзкая модель, так убийственно знакомая нам и принесшая столько зла в нашей новейшей истории, что, вероятно, и не подлежит дальнейшему обсуждению...»

Приношу извинения за столь пространную цитату, но, к сожалению, сегодня надобно не только ее повторить, но и более подробно поговорить об этом.

Именно здесь опять появляется проклятая, наша собственная «грузинская» МУТЬ.

На сей раз на арене появляется новая волна МУТИ, волна МУТИ, оставшаяся за пределами успеха, можно сказать, новый «пролетариат». Это та часть, которая видит свое угнетение и несправедливость только лишь в том, что ей не достались лавры власти, успеха и уважения, и наивно, спекулятивно отождествляет это явление с национальным гнетом и несправедливостью...

Причина МУТИ всегда и непременно тоталитарна. «Освобождение» для нее значит захват власти. «Свобода» — право угнетать другого, чтобы тот, другой не смог бы его притеснять. Вот ее понятие «свободы и права». Понятую таким образом борьбу за «свободу» МУТЬ облачает в соответствующие политические лозунги (Борьба за социальную независимость — эпоха Октябрьской революции. Борьба за национальную независимость — сегодняшний день). Проис-

ходит инстинктивное отождествление собственной борьбы за власть с борьбой за национально-освободительное движение... Для осуществления этого МУТИ необходим СВОИ СОБСТВЕННЫЙ новый ИДОЛ, новый ХОЗЯИН, новый ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ, которого окружают ореолом легенд, объявляют «национальным героем», святым, и с «религиозным» пылом и гневом обрушатся на всех тех, кто в чем-либо усомнится. И чем больше раздует МУТЬ имя и авторитет своего вождя, тем больше оправданий будет любым действиям МУТИ... Вот почему среди таких людей все чаще раздаются суждения о том, что нужна РУКА!.. Должен наконец появиться ЧЕЛОВЕК, который будет править!.. и т. д.

Тяжело наследие тоталитаризма, особенно в психике общества. Вот поэтому нам привычнее митинги, нежели публичные обсуждения. Поэтому высокий и святой лозунг «Да здравствует свободная Грузия!», уступая устроителю митинга, можно вполне легко заменить на «Разгромим тот или иной театр, тот или иной спектакль!» и толпа устремится коллективно громить...

Это гнетущее наследие пока настолько сильно в психике определенного слоя общества, что путь национальной и личной независимости они наивно связывают с феноменом БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА, нового ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ. Они жаждут свободы, не сознавая при этом, что «свобода» и «великий вождь» несовместимы. МУТЬ ни в коем случае не устраивает развеять в психике массы это наследие. Напротив, это и есть опора МУТИ и она всячески способствует ее укреплению...

Когда налицо подобные обстоятельства и есть благодатная почва, непременно найдется и соответствующая кандидатура.

Существует несколько вариантов. Возможно, что носитель здоровых идеалов может попасться на авантюристскую удочку: воспользоваться ситуацией, воспользоваться, опираясь на МУТЬ, быстрым захватом власти, в надежде, что потом все расставится по своим местам. Но рядом с безнравственностью добрых дел не сделаешь, так как только попытаешься от нее освободиться, придется вступить в сговор с другим пороком. Это безвыходный лабиринт. Словом, для свершения божественных дел нельзя продавать душу дьяволу...

Возможен вариант, когда МУТЬ сама подхватит и приведет к кормилу правления какого-нибудь властолюбивого рыцаря с большой дороги, который с помощью МУТИ убедит массы в своей исключительности...

Возможен и такой вариант: охваченный манией величия

негодяй давно уже подготовлен и действует. Результатом его действия является все большее помутнение МУТИ, опасный рост пропорций МУТИ в национальной посуде...

Постепенно проявились и становятся все более явными примитивные и недостойные ухищрения МУТИ в борьбе за власть, столь противные всем здравомыслящим людям (и уже давно исчерпанные большевиками).

Рассмотрим некоторые из них.

Первейшее и основное — создание образа ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ, фетишизация личности. Наглое паблисити. Устное распространение выдуманных легенд. Заискивающая подхалимская возня вокруг его личности, коллективные истерии женщин определенного типа, дикие шествия с поднятыми на руках лидерами и другие дешевые эффекты... Уже и на страницах прессы бросается в глаза подхалимский тон, постоянное, по поводу или без, льстивое упоминание «вождя», беспрестанная ссылка на него, цитирование... Появились первые образцы од, восхваляющих его. А один священнослужитель, чтобы возвеличить вождя, дошел до того, что утверждал о явлении ему Святого Георгия и после этого стихом оповестил нас со страниц всеми любимой нами газеты... Нам только остается ждать появления на улицах города служителей культа юродивых, чревовещателей, предрекающих скорое явление мессии...

Кое-где появились представляющие МУТЬ «капитаны» «майоры» (некоторые, вероятно, претендуют на «полковников»), взволнованно восклицающие: «Не видите, что уже война?! А во время войны все подчиняются ГЕНЕРАЛУ!.. Хватит лясы точить, настало время в клятве верности ГЕНЕРАЛУ!.. Кто уклонится от клятвы, будет объявлен дезертиром!..»

Проводится настойчивая попытка перенесения ореола славы ушедшего из жизни человека, объявленного национальным героем, на живого, безудержная спекуляция его авторитетом, попытка самореабилитации по ряду вопросов со ссылкой на покойного. Давление на сознание народа, что якобы продолжателем его дела может стать только его «осиротевший брат»... До боли знакомая модель. Все хорошо помнят гениального продолжателя дела великого вождя пролетариата дядю Сосо... Вот только возникает вопрос, насколько бы пригодился в свидетели живой Мераб Костава, бескомпромиссный, воистину измученный, исстрадавшийся человек...

Стало обычным явлением наклеивание различным противникам ярлыков «агентов ГБ» и «врагов народа». Агентом и

врагом объявляется и вчерашний соратник, коли у него появилось противоположное мнение... Это достигло таких форм абсурда и недомыслия, что стало объектом шуток в народе. Благо, что в грузинах еще не умерло чувство юмора...

«Останови, враг народа!» — кричат вослед проехавшему такси.

«Двойку влепил, агент Кремля!..» — жалуется на учителя обиженный ученик...

«Пей до дна, а то объявлю врагом народа!» — и так далее. Распространились шуточные вопросы-головоломки, например:

«Есть ли «тактический ход», что «агента ГБ», который всех называет «агентами ГБ», ни разу не назвать: «ты сам «агент ГБ», для того, чтобы и он не смог назвать тебя «агентом ГБ»?..» — и множество других головоломок...

Происходит также спекуляция митингом. Почти уже два года как митинги новым, волнующим явлением вошли в жизнь народа. Тут впервые, публично раздались справедливые, смелые слова. Те слова, которые раньше копились в нашей груди... Это необычайно захватывало дух, вызывало чувство внутренней раскрепощенности, волновало общностью мыслей и общностью цели... И поэтому в сознании людей «сказанное на митинге» идентифицировалось с бесспорной, не подлежащей сомнению «истиной». ...Безиравственный трибун без труда сможет воспользоваться для внушения людям того, что его самого устраивает. «Раз сказали на митинге, значит, так оно и есть!..» — верят люди, и до тех пор, пока они верят, их можно пичкать чем угодно... И льются с трибун потоки грязи, лжи, демагогии, провокационной дезинформации... Но это не может всегда так продолжаться. Временами ложь всплывает. Возникают островки недоверия. Подобное недоверие, возможно, пошатнет веру народа и приведет его к безразличию и нигилизму, что в свою очередь приведет к чувству пассивной безысходности народа. А выводить вторично массы из пассивного состояния будет весьма нелегкой задачей национального движения... Трудно это рассчитать?.. Тогда к чему же это делается?.. Чего хотят этим достичь?.. Подобные митинги иной раз после нарочной истерической зарядки завершаются натравливанием толпы на «врагов народа», с которыми сводит личные счета какой-либо оратор...

В этой области МУТЬ не найдет себе равных. Достаточно отметить две акции, отличившиеся разнузданностью, низкими инстинктами и озлоблением: одна против Тамары Чхендзе, про-

веденная у ее же дома, а другая у здания ЦК — против целой группы интеллигенции...

Воистину, нужно быть бессердечным, сатанинским отродьем, чтобы физически спасшейся в катастрофе женщине с тягчайшей душевной травмой устроить под окнами ад и представить ей идиотское, абсурдное обвинение: мол, как ты посмела остаться в живых!..

Интересно, в какой хартии «Защиты прав человека» указан подобный метод? Подобная низость, вероятно, и в большевистской практике отыщется с трудом. Это мерзкий и тревожный симптом. Это явление требует анализа, причем социологов, психологов и других специалистов... Необходимо выявить сущность этого явления, и общественность должна сделать свои выводы... Иначе оно грязным пятном ляжет на все грузинское национально-освободительное движение...

А вообще интересно, люди, принимающие участие в подобных акциях, все еще ходят в церковь?.. Смотрят прямо на икону Богородицы?.. Осеняют себя крестом?..

Христианство для нас всегда было не только религией. С самого же начала оно было нашим глубоко осознанным убеждением, формирующим нашу психику и соответствующим типу нашего мышления. И поэтому возрождение христианства, веры, отождествляется с возрождением нации. Сегодня же со всей грузинской нацией подобные люди зажигают свечу и крестятся перед Спасителем... Интересно, с каким чувством и сознанием крестится тот «герой», который публично заявил, что сжег книги Реваза Джапаридзе и Шота Ломсадзе и призвал народ последовать его примеру. Что он там узрел такого (разумеется, если он когда-либо их открывал), что вынудило предать книгу огню рукой грузина?.. Что означала эта безумная, злобная акция перед зданием ЦК?.. Спасение Грузии от турецкого вторжения?.. С кем боролся этот народ?.. Для чего нужно было ломиться в открытую дверь?.. А может, это была первая репетиция натравливания грузин на грузин?.. Кому это на руку?..

Поток совершенно нелогичных, абсурдных, нелепых, невероятных обвинений. А даже для элементарного подтверждения фактов, обвинений никто себя не утруждает...

Немыслим идиотизм тех, кто способен поверить в подобные обвинения, но еще более немыслимо молчание тех, кто нормально мыслит, и невозможно, чтобы они верили в такую ложь...

Нужно помнить о том, что даже самая абсурдная, непра-

вдоподсобная стряпня, которая остается без ответа, но упрямо и долго вдабливается другим, принимает в определенной части населения характер аксиомы. Вот так же оболванивали народ на протяжении семидесяти лет наглые бредни большевиков. Но тогда на это было невозможно отвечать хотя бы для того, чтобы разъяснить небольшой части населения. А что же теперь мешает общественности?.. Чего она опасается?

Был период неразберихи, когда люди думали, что спор мог нанести вред национальному движению (эту демагогию и сегодня упрямо использует МУТЬ: не прекословьте мне, а то тем самым вы льете воду на мельницу врага! — без устали твердит народу и грозитя объявить «врагом народа»). Но миновал и этот период, и для всех должна быть ясной одна простая истина: для правого дела полезна только правда, какой бы обидной она ни была для новоявленного ли «вождя», для старого ли коммунистического лидера...

Если на методы МУТИ отвечать ее же методами, то по отношению к ней можно выдвинуть такие обвинения (и не совсем уж абсурдные), что, вероятно, волосы встанут дыбом... Но, к счастью, пока еще никто не соблазнился этим, а то была бы достигнута цель МУТИ: хаос двусторонней абсурдной, площадной ругани.

Но общество обязано отвечать на непристойности не подобными же действиями, а точной квалификацией непристойностей, подтвержденных фактами, которых более чем достаточно, с тем, чтобы осадить обнаглевшую МУТЬ.

Еще об одном «ленинском» методе, Тезис: «Рабочий класс наш единомышленник, интеллигенция же в стороне от национального движения (в национальном движении подразумевают только самих себя). Прimitивный расчет, от которого пахнет сильным душком: РАБОЧИЙ КЛАСС в количественном отношении значительно больше, соответственно в нем больше послушного и последовательного процента. ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ — поменьше, да еще большинство ее не так просто убедить, начнутся суждения, критика, подача собственных умозаключений. Поэтому ясно как день: нужно заигрывать с рабочим классом, не уставая твердить, что «рабочий класс всегда прав», что он всегда был и остается бескорыстным, бесстрашным и самоотверженным борцом (но, как всегда, в конце выяснится: самоотверженным лично для вождя и его приспешников), что он здоровая сила нации, ее авангард и т. д. Интеллигенция?.. Интеллигенция гнилая, трусливая, двуличная, интригующая. Она

заботится о благоденствии, заработанном на горбу пролетариата!.. Ей ни в чем нельзя доверяться!..

Эта дешевая, износившаяся демагогия оскорбительна не только для так называемой интеллигенции, но также (если и не больше) для так называемого рабочего класса, так как здесь под рабочим классом подразумевается легко управляемая масса, стадо, во главе которого достаточно поставить чем-либо отличающегося вожака, приставить к нему соответствующее количество пастухов и собак и можешь гнать его куда тебе заблагорассудится, можешь схлестнуть его с непокорными тебе и растоптать их...

(Здесь не мешало бы вспомнить, как по приказу великого вождя Ленина «рыцари революции» Тухачевский и Фрунзе расстреливали огромные демонстрации рабочих, посмевших заявить, что они боролись за власть рабочих Советов, а не за диктатуру большевистской кучки)...

До бесконечности можно продолжать обзор таких прекрасных и оригинальных методов (попытка непрерывного подогревания психоза в народе на почве этноконфликтов, провокации для создания общественного мнения, слухи о каких-то темных силах, пытающихся физически уничтожить вождя). Помните ковбойский анекдот о «неуловимом Джо»? Все это делается для того, чтобы зажечь народ «праведным гневом» против тех, с кем МУТЬ потом «справедливо» сведет счеты. И это старый ленинско-сталинский испытанный метод.

МУТЬ борется за власть с инстинктивным, безудержным ожесточением. Окончательная победа МУТИ исторически исключена, но в атмосфере безнаказанности возможен временный захват механизмов правления и допущения роковых непоправимых бед.

Почти явно выразилась и тактика ее действий: она деструктивна, стремится к общей дестабилизации. Ей необходим внутренний раскол, раскол в самом национальном движении. Необходимо создание «противников», «врагов», необходимы провокации для создания «преступлений» этих «врагов». Накопление в народе чувства несправедливости, бессилия, безверия, растерянности и психоза. Доведение ситуаций до катастрофических, авральных положений (исторически типичное положение перед выходом на авансцену диктатуры), когда никому не будет дела до обсуждений и выбора, когда речь будет идти только о выживании. И в это время вперед выступит МУТЬ (по принципу «Есть такая партия!..») и «согласится» править. При

этом предупредив народ: «Теперь успокоились!.. Раз доверились мне, то будьте добры не мешать!.. Не то!..»

Здесь можно подумать: только бы стать независимым. В конце концов и свою, грузинскую диктатуру выдержу... Возможно и понятен такой чистосердечный крик души за независимость родины, желание наконец-то сбросить ярмо чужеземного ига, переполнившего чашу терпения грузина. Но если мы учтем возможные последствия, то увидим: вполне вероятно, что может встать вопрос не то чтобы о независимости, а вообще о существовании Грузии...

В первую очередь, мы не должны забывать о том, что давно уже общеизвестно: у диктатуры свои физические законы, которые действуют, несмотря на разновидность диктатуры и личностные качества диктатора. Чтобы существовать, диктатура должна опираться на покорный правленческий аппарат, который взамен за верность берет господство над всей страной и каждым человеком. Критерием оценки человека считаются не личностные, человеческие качества, а, в первую очередь, его покорное отношение и верность диктатуре. Этот закон пронизывает все сферы жизни сверху донизу. И какие люди становятся победителями в столь замкнутой системе, всем хорошо известно. Так же хорошо известно, какая страна строится в результате этого. Кажется, мы еще не успели этого забыть...

Но, вероятно, система не успеет окончательно замкнуться. МУТЬ начнет свое правление тем, что под видом наведения порядка и восстановления стабильности немедленно приступит к уничтожению той части общества, для которой независимость родины и диктатура несовместимые понятия, все это будет происходить под лозунгом борьбы с «врагами Грузии». Таких «врагов» будет немало, и начнется братская бойня, гражданская война... Что и говорить, такой шанс не упустит ни один наш внутренний «побратим», ни внешний сосед. У всех возникнут «законные» основания для вмешательства в наши внутренние дела и предъявления своих претензий... И что после всего этого останется от Грузии, можете без труда представить....

Не исключено, что вмешательство «третьей силы» понадобится самой МУТИ.

Не будь поддержки русского штыка, в 1921 году в Грузии МУТЬ не смогла бы закрепиться. Благодаря русскому штыку потопилось в крови восстание 1924 года, и благодаря тому же штыку она господствовала в Грузии столько лет. По-другому

господство в Грузии МУТИ трудно было бы представить, так как сам характер нации, психический тип исключает таную концентрацию МУТИ и покорных ей, которая бы могла на-долго превратиться в доминирующую силу.

Между прочим, и кровавый режим Чаушеску тотчас пал, как только ослабла поддержка русского штыка. Неужели эту невыгодную пропорцию не чувствует и не предусматривает МУТЬ? А может, и сегодня рассчитывает она на подпирающую спину внешнюю силу?.. Но кто, какая внешняя сила внушает им столь уверенную надежду?.. Кто-то, видимо, ничуть не гнушается славой Серго Орджоникидзе и Бабрака Кармаля...

Примечательно, что вся тактика и стратегия МУТИ рассчитана только на момент захвата власти. Какие шаги предпринимать в дальнейшем, она вроде не знает. Во всяком случае не говорит... Не видно их платформы, описанной в общих чертах. Идея, концепция — КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ БУДУЩАЯ ГРУЗИЯ?.. «Независимой и суверенной» — это не концепция. Это всего-навсего лозунг (потрясающе, неужели на протяжении долгих лет диссидентства, которыми некоторые из них попрекают своих соотечественников, они хотя бы раз не задумывались над этим?). МУТЬ знает только одно, что должна господствовать, и знает еще то, что для этого не надо слишком большого ума. Почему?.. Об этом ниже. А сейчас новой волне МУТИ мы должны напомнить вторую часть ее же породы, МУТИ, расцветшей в период большевизма, которая на протяжении семидесяти лет выстроилась в жесткую систему командования и насилия. Речь идет о самой тугодумной, о самой консервативной части официоза. До поры до времени их не видно, не слышно, однако они не упускают нитей власти и следят за развитием событий. И если перевесит чья-то чаша весов, они тут же сдадутся новой диктатуре. Можно подумать, их когда-либо волновало, как называть эту диктатуру! Главное, что диктатура их сущность, форма их существования. Хотя поначалу они впадают в панику, думая, что готовится формирование действительно нового свободного общества, но, глядя на прилив МУТИ, они постепенно успокаиваются, уповая на то, что возможно сохранение источника их существования и вступают в альянс с силами будущей диктатуры. Разумеется это выгодно и новой диктатуре. Ведь она примет готовый механизм правления и насилия. Хотя ей и потребуются обязательная косметика принятого. Так что средней и нижней части МУТИ, охваченной «праведным гневом», не светит сколько-ни-

будь блестящая перспектива, большая часть «дорогих пайков» останется в руках верхушки.

Вот почему не потребуется какого-либо напряжения умственных клеток МУТИ. Готова масса с рабской психологией и любовью к вождям. Готов также аппарат правления и насилия. Понадобятся всего лишь новые знамена, новые ярлыки и новые лозунги...

Но дело в том, что в скором времени это слишком плачевно окончится для всех... И что тогда, после всего этого станется с Грузией?..

А общественность молчит. Продолжается «благородная» молчанка, «джентльменская» позиция, когда воспитанный человек закрывает глаза на хамство и предпочитает держаться так, словно и не слышал матерщины...

Как говорится, пусть каждый займется своим делом, и это справедливо, только в таком случае можно сделать великое общее дело. Но когда в обществе появляются симптомы опасной эпидемии и возникает вопрос о судьбе нации, тогда каждый обязан выразить свою позицию. И никто не вправе уклоняться под предлогом того, что делает «более важное...»

И если ты великий артист и великий художник, то тем более обязан показать народу свою позицию... И когда ему понадобится неотложная помощь, не отмахивайся, ссылаясь на то, что ты занят такой работой, от которой ахнет весь мир... Ведь если твой народ не будет в состоянии оценить твоё искусство, то какая же ему цена...

Согласитесь, что и другой вариант нельзя будет счесть за мужество. Это — спровадить своего соотечественника на войну со словами: ты сходи повоюй, а я к твоему возвращению такой ужин приготовлю, что пальчики оближешь (по той причине, что ты славный повар)... Но ты не знаешь, что к ужину он может никогда не вернуться, или же вернуться, но без пальцев?..

То, что независимости Грузии хотят все, об этом не может быть и речи. Это пройденный этап. Сейчас стоит конкретный вопрос: КАКИМ ПУТЕМ ДОСТИГНУТУЮ И КАКУЮ НЕЗАВИСИМУЮ ГРУЗИЮ ЖЕЛАЕШЬ? Вот такой вопрос, и на этот вопрос все должны дать свой ответ.

Все обязаны выразить свою позицию и думать, что делать дальше... Разбить Грузию на «МУТЬ» и «ЧИСТУЮ ВОДУ»? Вот это и будет внутренней конфронтацией нации, к которой так подталкивает нас МУТЬ. Она больше всех трубит о «консо-

лидации» и, используя это, явно призывает под свои знамена верных ей солдат... Вот так понимает она «консолидацию»! И именно этим достигает обратного, так как сразу же делит общество на ВЕРНЫХ ЕЙ И ЕЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ...

И пока мы не разбились пополам и не схлестнулись друг с другом, наверное, нам всем нужно попробовать стать на стезю христианства: пусть каждый из нас перед Богом заглянет в себя, взвесит в себе перед Богом всю свою зависть и озлобление, свою способность к прощению и признание проделанных ошибок... Насколько сильна жажда собственного возвеличения и покорения других и насколько живо желание незаметной деятельности, жертвенности ради других?..

А конкретно, в национальном движении, что является бóльшим для тебя стимулом: осуществление великой цели или собственное возвеличение в борьбе за эту цель?.. Способен ли ты ради первого пожертвовать вторым?.. Или наоборот?.. Напрашивается известный перифраз, использованный светлой памяти Мерабом Костава: надо любить национальное движение в себе, а не себя в национальном движении...

Не раз говорилось, что у нас нет грузин, которыми могли бы мы разбрасываться, и все же мы должны воздержаться от категорической персонификации МУТИ. И поэтому мы должны бороться не с тем или иным слоем, либо той или иной персоной, а проявлением МУТИ в том или ином слое, либо в той или иной персоне. И, кроме того, мы должны уповать на то, что если существуют процессы помутнения и восхождения МУТИ, то должны существовать и обратные процессы осадка и очищения. Мы должны суметь развить эти процессы, должны суметь найти средства, способствующие развитию этих процессов. И поэтому необходимо обратить всеобщее внимание на участвовавшие и уже методичные, последовательно сформировывающиеся в действия проявления МУТИ и на возможные плачевные последствия, которые могут последовать в ходе дальнейшего развития...

Молчанием конфликт не остановишь. Напротив, подталкиваешь автора конфликта к такому действию, после которого конфликт неминуем...

Необходимо, чтобы лица, пользующиеся вышеперечисленными методами, ответили общественности: какую квалификацию дают они сами этим методам?.. С каких нравственных точек отсчета смогут они объяснить и оправдать эти методы?.. Сочтут ли они закономерным то, что кто-то и против них приме-

нит подобные методы, или же назовут их предателями национального движения?.. (А ведь это вольное или невольное предательство идеалов национального движения, от кого бы оно ни исходило...).

А общество должно провести констатацию этих явлений, должно трезво их обсудить, дать публичную оценку.

И вот тогда, наверное, явно выявится, где и какое количество МУТИ, и также явно проявится отношение к ней, и хочется верить, появятся пути к очищению.

Март 1990 года.

После марта проявления МУТИ принимают все более масштабный характер. Митинг превратился в механизм всеобщего террора, почти в параллельный орган правления. Здесь происходят разоблачения врагов народа, вынесения приговоров, призывы к расправе... Путем угроз, шантажа, а порой и «дружеских соглашений» в ряде регионов происходят самовольные освобождения и назначения на выгодные, высокие должности. Принуждения к финансированию, вымогание крупных сумм. Проводится давление на прессу и средства массовой информации. Цензура МУТИ становится чуть ли не узаконенной. Некоторые печатные органы уже превратились в покорных рабов МУТИ. Появились одописцы и апологеты МУТИ, и подобным образом эта часть интеллигенции «встала плечом к плечу» к национальному движению.

А ну-ка подумаем, КАКИЕ ВЫБОРЫ МОЖНО ПРОВЕСТИ В ПОДОБНОЙ АТМОСФЕРЕ?.. ЧТО МЫ ПОЛУЧИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫБОРОВ, ПРОВЕДЕННЫХ ПОД ТЕРРОРОМ МУТИ?..

Не знаю, как будет с выборами, но если этот процесс продолжится в том же духе, возможно, в скором времени не исключено, что и до выборов страна придет к состоянию, которое господин Акакий Бакрадзе метко называл «ливанизацией». Это же будет концом Грузии...

Пока не поздно, следует одуматься и обсудить, что же происходит. Лидеры всех партий (в том числе и коммунистической) и организаций, все мыслящие и деятельные граждане должны счесть за обязанность высказать собственное аргументированное мнение. Возможно, нам и удастся почистить замутненный национальный сосуд. Тогда станет возможно и разумное соглашение. А согласие приведет нацию к намеченной цели.

Приписка: после марта я дал прочесть эту статью людям.

популярным в народе, кого часто слышит Грузия и к чьему мнению прислушивается. Я спросил совета, и все в один голос сочли нужной публикацию. Правда, некоторые из них посоветовали немного повременить, надеясь, что события могут развернуться иначе. Было сказано и то, что необходимо публичное обсуждение статьи. Как видите, я повременил. Конечно же, было бы лучше вообще не печатать этой статьи, если бы не необходимость. И я надеюсь, что представители нашей общест-венности откликнутся на эту статью.

Также хочу надеяться, что возможно, я слишком сгущаю краски, возможно, гипертрофированно вижу опасность? Я буду искренне благодарен (это будет равносильно избавлению от назойливой боли), кто аргументированно, убедительно развеет мои сомнения ..

Тогда наконец я облегченно переведу дух и с радостью «займусь своим делом».

Июль 1990 года.

Читатели!.. Я хочу обратиться к вам с вопросом... Особенно к тем, кто сейчас уверяет, что тогда искренне верил «Круглому столу» и его лидеру как единственной силе, могущей спасти Грузию... Но разве феномен, описанный в этой статье, развивался не перед вами?.. Разве не вы были свидетелями этого каскада мерзостей?.. Как по-человечески, по-христиански мыслящий человек мог увидеть в силе, опирающейся на мрак и ненависть, силу, несущую освобождение Грузии? Можно сказать, что не смог воспротивиться из-за слабости и предпочел молчание, но твердить, что «тогда» видел в этой силе светлую, освободительную силу, прошу, конечно, прощения, показатель низкого умственного и нравственного состояния... Неужели так трудно было распознать и оценить все еще весной 1990 года?.. Обязательно до конца должен был быть разыгран составленный Сатаной сценарий?..

И слава тем, кто все-таки смог вырваться из заколдованного круга и объявил беспощадную борьбу!..

Неужели и сейчас найдутся в Грузии люди, которые не смогут вырваться из этой атмосферы тьмы и ненависти?..

Неужели этот жесточайший урок не будет последним для каждого из нас?..

Неужели хотя бы сейчас не осознаем поправленную нами же заповедь Господа: «Не сотвори себе кумира».

Неужели и сейчас Господь не откроет нам глаза и не выведет к свету?

5 января 1992 года.



Не будем отгораживаться!

Дорогие соотечественники!

Происходящее сегодня на проспекте Руставели — это отражение того, что произошло в наших душах. Это то, что сотворил вождь с нашим внутренним миром, с нашим «я». И это не фигуральное высказывание. Забившийся в бункер президент заявляет, что если погибнет он, то пусть вместе с ним погибает вся Грузия. Так вот, духовному опустошению начало уже положено, и я хочу поделиться с вами, каким образом президент добился этого. Недавно, при встрече с нашим молодым поколением — студентами, президент заявил следующее: «Сидите и голодайте. Можете сидеть до старости. Это я покати, а вы и с места не сдвинете. Это искусство...» Я думаю, что это единственная правда, которую сказал наш президент за целый год. Разумеется, привести в движение массы — это искусство. Теоретики психологии масс отмечают, что в скоплении людей, в определенных условиях, отдельно взятая личность может быть образованной, интеллектуальной, но в массе она теряет волю, и настрой людей, одинаково стремящихся к единой цели, делает их безвольными, и уже место собственного «я» отдельной личности занимает вождь. Как считают ученые, трудами исследователей психологии масс пользовались все великие диктаторы XX века. Я хочу вспомнить один абзац из книги Гитлера «Майн кампф» («Моя борьба»). Вот, что он пишет: «Масса — это примитив, масса готова к насилию. С ней нужно обращаться по возможности грубее. Пропаганда должна быть наипримитивнейшей и соответствовать уровню восприятия самой необразованной, самой низкоинтеллектуальной личности массы». По мнению Гитлера, массе нужно подавать самую невероятную ложь, потому что масса готова поверить во что угодно. В этом случае действует закон — вождь сказал, мы верим! Вот каким образом управляли вожди массами. Натравливали на врагов и, как отмечал Геббельс, в неистовстве толпа готова не то что к уничтожению врага, но и к самоуничтожению.

Выступление по грузинскому телевидению 4 января 1992 года.

И мы выслушали немало лжи. И мы испытали на себе ярость озлобленной, натравливаемой толпы. Кстати, лозунг, за которым следует масса, не имеет значения. Он может быть как идеальным, так и мракобесным. Под демократическими лозунгами происходили величайшие злодеяния. Например, «хайль» — означает «светлый», «чистый», но ведь под этим лозунгом свершались тягчайшие преступления. Конечно же, очень выигрышен лозунг национальной независимости, но я хочу напомнить, что и немецкий лозунг был национальным. Но, оказывается, и национальный лозунг, если он не служит истине и не сливается с ней, способен принести зло, свидетелями чего мы с вами оказались.

Мы выслушали много лжи, выслушали всяческую ложь, сегодня — одно, завтра — другое, но странно то, что оказавшись в таком положении, мы ни разу не задумывались, а что же правда? О кровавых событиях 2 сентября президент нам сказал, что митингующие стреляли в ОМОН, мы поверили. Когда же среди митингующих оказались раненые, президент сказал, что это были пули, рикошетом отскочившие от зданий. В конце концов президент был вынужден признать, что омоновцы стреляли, но он об этом ничего не знал. И разве мы задумались, какая версия была правдивой?

Враги. Оказывается, у Грузии бесчисленное количество врагов. Мы все агенты Кремля, агенты КГБ. Но разве у кого-нибудь возник вопрос: зачем Кремлю столько агентов в Грузии? Разве мы задумались над тем, почему вооруженные группировки «Круглого стола» противодействовали президенту? Кто ответственен за это? Кто их вооружил, оппозиция? И разве не власти вооружили «Тэтри Гиорги», гвардию и «Общество Костава»? И наконец нечто из ряда вон выходящее — вооруженная Хельсинкская группа! Разве кто-либо из нас попытался выразить свой протест по этому поводу? Ведь Хельсинкская группа и вооружение — это два противоположных полюса! Или, может, кто-нибудь сообразил спросить президента, каким образом смогли выйти из-под его контроля вооруженные формирования? Или почему Китовани со своей гвардией, укомплектованной безусыми мальчишками, пришлось скрываться? Или почему приходится скрываться Тенгизу Сигуа, почему его должны охранять гвардейцы? Что он содеял?

Оппозиция не враг своему народу. Хотя нас и объявляют врагами. Ни в одном цивилизованном государстве оппозиция не может быть врагом своему народу. Напротив, она помогает

правительству, и именно в контакте с ней правительство должно управлять государством. Речь идет о врагах, врагами заполнилась Грузия, но кто был президенту большим врагом, не жели он сам и его близкие! Почему не задумывался президент, что враждебным было то, когда один из министров восхвалял его внешность, другой же называл себя его рабом, а Председатель Верховного Совета сравнивал его то с Бушем, то с Тэтчер.

Его величали солнцеликим и посвящали оды. Почему же он не хотел понять, что это самая настоящая вражда? Бесспорно одно, в нас происходит переоценка каких-то ценностей, если нас ничто это не удивляет. А ну-ка, представим на миг, как подчиненные обращаются к Бушу, восхваляют его внешние данные и все это время лицо Буша сияет в довольной улыбке?! Стыдно, люди, за все это! Больно и стыдно! Признали его Святым Георгием, признали мессией!.. Уж кому-кому, а нашему президенту лучше всех известно, какой он святой и мессия...

Мания величия порождена чувством собственной неполноценности. Президент прекрасно знает, какой он мессия, но он прекрасно знает и то, что превратившимся в массу грузинам нужен идол.

Нужно отметить и то, что президента встретил готовый пьедестал. Пьедестал создали многолетний тоталитарный быт и тоталитарные структуры, благодаря которым возник и человек тоталитарной структуры. И это мы. Потому-то так легко подхватили мы идею вождя.

Теперь какая же перед нами главная проблема? Мы должны разрушить эту пьедестальную структуру. А то от желающих взойти на этот пьедестал не будет отбоя, будь то Гамсахурдиа, либо кто другой. И если бы президент немного собрался с умом, то первым делом он бы начал разрушать пьедестал, что означало бы формирование демократических структур, заботу о правах человека, развитие частной собственности и многое другое. Вот бы что вознесло нашего президента на истинный пьедестал. Тогда бы ему не понадобилось отгораживаться от своих же избирателей стронтельными блоками и расходовать неслыханные средства на женскую организацию «Мдэдриони». Хотя во всем этом есть и наша вина. Диктатор один никогда не сможет властвовать, не будь у него подчиненных, рабски прислуживающих ему. И если кто-либо выразит протест по поводу того, что мы были рабски настроены, тогда что же означали целый год бесконечные вопросы сторонников Гам-

сахурдиа «Кто же будет править, если не Звиад?». Никто, гос-
пода, никто! И все! Мы, вы, каждый из нас! Демократия не
означает управление массой, демократия --- это возвышение
личности и вознесение каждой личности на тот пьедестал.

Помимо того раздавался и другой вопрос: «Чего ему, сыну
своего отца, отпрыску такой известной семьи не хватало, что
он посвятил всего себя нам?» Не хватало, господа. Подумайте
и тогда поймете, что действительно не хватало. Ему, автору
этих стихов, сказок и басен, не хватало огромного творческого
таланта, что сделало бы его первым писателем Грузии. Вот че-
го не хватало! Не хватало эскортов автомобилей, мерседесов,
не хватало превратившихся в рабов грузин, господства над Гру-
зией. И самое главное, не хватало выражения той ненависти,
которая сегодня выплескивается на Руставели.

«Дайте ему время», — раздавалось повсюду. А разве не
дали? Столько времени ему дали, что даже не постеснялись.
Подождали, пока он расправился с ребятами из «Мхедриони»
с помощью Советской Армии. И если бы тогда мы выразили
свой протест, то не пришлось бы нам сегодня быть свиде-
телями этой страшной трагедии. Расправился с «Мхедриони», а
на следующий день в своем выступлении по телевидению за-
явил, что Джаба Иоселиани, оказывается, в альянсе с армией
и это столкновение инспирировано. Позднее, конечно же, вы-
яснилось, как все было инспирировано... Кто из нас возмутил-
ся по этому поводу? Подождали с потрясающими провокация-
ми. Вспомним-ка первое заседание первой сессии, когда кто-то
влетел в зал заседаний и заявил, что «Мхедриони» разбойни-
чает в Кахети. Разве мы задумались над тем, что так не бы-
вает? Что только правосудие может установить правого и ви-
новатого, мы же оказались политически неграмотными. Раз-
ве мы удивились, что поправа презумпция невиновности? По-
ждали. Дождались и того, что в политическом документе, в
Акте независимости Грузии, появилась подпись супруги пре-
зидента. Разве это оскорбило Грузию? Разве мы забили тогда
тревогу? И поэтому все мы соучастники того, что происходит
сегодня. Подпись супруги, это такой беспрецедентный случай
в истории человечества, аналог которому можно найти разве что
в истории Древнего Рима. Римский император Гай Юлий Ка-
лигула, который отличался своей жестокостью, разнузданно-
стью и несправедливостью, избрал членом сената своего коня.

Со многим мы подождали. Подождали и с институтом пре-
фектов... Сколько же всего перечислять, вам и так все хорошо
известно... Все ждали и не уставали повторять «Бог с

нами!» Эту фразу, наверное, раньше никогда так часто не повторяли в Грузии, и Господь, наверное, никогда не был так далек от нас. Ведь если Бог с нами, то почему мы забываем, что у нас есть слово «адамиани» (человек). «Адамиани» означает то, что наши предки считали себя потомками обитателя рая Адама, созданного по образу и подобию Божьему, и считали миссией человека обретение его высокой нравственности. Если мы верующие, то почему не вспомним, что у нас есть слово «тависупали» (независимый, свободный). Ведь всякая личность должна быть зависимой только от себя, каждый человек сам себе господин. Если мы верующие, то почему продолжаем твердить о прошлом Джабы Иоселнани? Кто имеет право запретить человеку начать новую жизнь? Почему забываем, что Мария Магдалина была падшей женщиной, а разбойник, распятый по правую сторону от Спасителя, первым вошел в рай, вошел раньше святых. Кто нам дал право мешать Джабе Иоселнани направлять сбившихся с пути ребят на путь истинный? Где наше милосердие?

Кричим, что «Бог с нами», а забываем об истине, которая всюду должна сопровождать освобождение родины. Когда великий Илья сказал, что грузина должна вести истина, ему не поверили и всадили в лоб пулю. Когда один из известных философов XX века Мераб Мамардашвили сказал, что истина превыше родины, объявили его врагом. И это наша проблема, а не проблема Петриашвили.¹ Мы дали путь невежеству и некомпетентности. Петриашвили ведет себя так, как и должен себя вести, потому что по-другому он и не сможет. Но ведь мы есть то общество, в котором вольготно таким, как Петриашвили. Мы все это допустили. Я говорю «мы», потому что считаю себя соучастницей всего происходящего.

Я хочу обратиться к тем дамам из «Мдэдриони», которые, пока в Тбилиси работали все телефоны, беспрестанно звонили ко мне, а теперь не стесняются врываться в дом. Я не смогу от вас отгородиться. То, что происходит с вами, значит, происходит и со мной, со всей Грузией. Грузины, не надо нам превращаться в массу! Вспомним о Боге, вспомним, что нам нужна независимость, и не нужно следовать за самозванным мессией. Не дадим ему права уничтожения Грузии. Забудем всяческие обиды, не будем отгораживаться друг от друга и восстановим сообща наш поправленный дух и нашу покрытую позором разрушенную Грузию.

¹ Гурам Петриашвили — один из идеологов «Круглого стола».



УДЕЛ БОГОМАТЕРИ

Как бы ни оценивались события последних лет, очевидно одно: начинается новый этап нашей истории. Мы на перепутье; обратной дороги нет, да и промедление смерти подобно. Оба случая грозят нам гибелью. Так по какому же пути нам следовать? Пока не выяснятся все факты, провести полный анализ событий сложно. Но сегодня уже ясно, что никто не закроет тебе глаза на происходящее, не подавит веру и не заставит замолкнуть.

Вот поэтому появилась возможность как правовой, так и политической оценки трагедии, которую пережил наш народ. Но время не ждет. И хотя бы сегодня мы должны принять решение, которое должно было быть принято вчера. Целый год прошел во взаимных распрях, а год, по нынешним временам, это целая эпоха.

И все-таки, может, не совсем потерянным считать этот год? Грузия в империи Романовых и Ульянова всегда стояла в авангарде национально-освободительного движения, начавшегося почти двести лет назад. Вспомним и более ранние века, и намного продолжительнее русского, арабский гнет. Но как же все-таки получилось, что не исчезла в борьбе с такими огромными империями наша маленькая нация? Неужели мы были такими исключительными, а если и да, то почему? Или, может, в нас есть какое-то особое физическое свойство, которого лишены другие нации?

Разумеется, нет! И мы такие же люди, как и другие. И у нас есть герои и трусы, подвижники и предатели, сильные и слабые, умные и глупые, красавцы и уроды.

Причина выносливости грузинской нации кроется в другом. Просто мы нужны человечеству, как и все другие нации. Господь и нам определил на этой земле свою миссию: исчезновение грузинской нации нарушит мировую гармонию и нарушит основательно. Мы должны это осознать и всеми силами бороть-

ся во имя исполнения своей миссии, мы должны попытаться открыть и остальному человечеству назначение Грузии.

В чем же оно заключается? Грузия часть Европы, ее крайняя точка с Востока как с географической, так и, большей частью, с духовной стороны. И западная ориентация вовсе не прихоть грузин. Вспомним связь грузинской цивилизации с цивилизацией Средиземноморья, с эгейской и античной культурами, затем с Византией, в средние века — поиск искусственно закрытого пути в Западную Европу, что в XIX веке привело нас к фактически азиатскому государству — России. Вспомним последние годы советской империи, съезды депутатов и поразительный, на первый взгляд, русско-среднеазиатский альянс. Азия не хотела отпускать Россию, соглашалась на все, только бы быть с ней. Но разве возможна проевропейская ориентация Казахстана? Ведь это территория Азии. Не случайным было и то, что остатки монгольской империи, подобно песку, разметались по Руси, благодаря чему Азия завоевала почти победившую Русь. А Грузия издавна стремилась к Европе.

Только лишь христианская религия, разумеется, не сможет обратить Россию в истинно европейское государство, не сможет Европа раскинуться от Атлантического до Тихого океана, до Владивостока, этот город не случайно так назван. Петр Первый прорубил «окно» в Европу, основал европейский город Санкт-Петербург. Сталин же присвоил не только Прибалтику, но и другие страны Восточной Европы. Историческая справедливость все же восстановилась. Ведь дело не в том, что Европа чем-то лучше Азии, к тому же, нельзя забывать, что именно в Азии расположены такие развитые страны как Япония и Южная Корея, и ничуть не исключена возможность развития других стран. Но ведь у обоих континентов собственные пути развития, с которых они и не смогут свернуть.

Вот почему европейская ориентация вовсе не прихоть грузин. Россия сама взяла на себя роль «третьего Рима», бастиона европейской и христианской цивилизации на Востоке, тем самым не усилив, а напротив, ослабив ее, так как сама по существу представляла азиатское государство, и с Европой ее связывала всего лишь вера и элитарное, оторванное от народных корней европейское просвещение. Страна же руставелевского ренессанса, Грузия, представляла часть единой европейской и византийской цивилизации, ее крайний восточный форпост и даже после падения Византии не утратила возложенной на нее миссии. Несмотря на определенное восточное куль-

турное влияние, которое не обошло стороной ни Византию, ни Европу, грузинская философская мысль в лице Арсена Икалтоэли или Иоанэ Петрици, грузинское искусство, зодчество, а также музыкальная культура были частью европейской цивилизации, теми же путями развивались гражданская и хозяйственная деятельность. И это главное. Возможно, русский граф изъясняется по-французски, а грузинский — по-персидски, но это не определяет культурную ориентацию всей нации.

Европейский путь развития Грузии исказился вмешательством грубой силы. Вокруг Грузии образовалась мусульманская дуга, Азия пыталась присвоить крохотную часть европейской цивилизации, но тщетно. Что и говорить, физически Османская империя и Персия намного превосходили Грузию, но так и не смогли в ней закрепиться. Грузинскому быту и сознанию оказались неприемлемы не только чужая религия, но и уклад жизни. Так же как невозможно влить в организм человека другую группу крови, так не смог свыкнуться грузинский дух с чужеродным телом. И поэтому насильственная операция заведомо заканчивалась неудачей.

Россия, оставшаяся страной восточной деспотии, но внешне причастившаяся к европейской культуре, дважды допустила роковую ошибку. В первый раз, когда вероломно нарушила Георгиевский трактат и поглотила не принадлежащее ей по праву, то есть оплот европейской цивилизации на Востоке — Грузию, превратив ее насильственно в часть Азии (чего не смогли добиться Персия и Турция), и во второй раз в 1921 году... Упаси Господь от третьей ошибки — это окончательно нарушит ту гармонию, которая должна существовать между Европой и Азией. Грузия должна быть тем мостом мира, который проложен между этими двумя континентами так же, как балтийские страны на севере, или же — как Средиземное море между Европой и Африкой.

Моего совета, конечно, не спросят, но если, с одной стороны, я приветствую стремление Турции к общеевропейскому дому, так как она уже давно стала наследницей византийской и более ранней хеттской и протохеттской территории, с другой же стороны, затрудняюсь понять благородное, на первый взгляд, желание создания единого экономического пространства между мусульманскими республиками бывшего Союза и Турцией чуть ли не с единым паспортом. Каким же образом должно создаться это пространство, когда у Турции нет никакой границы с этими республиками, когда между ними расположены Грузия и Армения?

Дело в том, что из этих двух стремлений — с одной стороны Европа, с другой же Азия, второе более естественно. И не только в силу религии, но и в силу исторических традиций прародины, в силу жизненного уклада. Россия не сможет воспрепятствовать этому стремлению, так как невольно образуется новая дуга — с Поволжья через Северный Кавказ к Крыму. А это, возможно, в будущем станет зачатком новой империи. Подобное противопоставление Европы и Азии может принять катастрофические формы. Повторяю, не потому, что какой-либо континент лучше или хуже, а потому, что у них различные пути развития и никто не знает, какой путь в будущем окажется лучше. Главное, сохранить это будущее для человечества. Именно поэтому должно быть ясно место и назначение Грузии в глобальных процессах. Грузию с Европой непосредственно связывает море. Армению же с Европой (если она будет держаться европейской ориентации и, вероятно, она и должна ее держаться) — Грузия. Это будет европейская полоса, которая в будущем не допустит противостояния между двумя континентами.

Сохранение этой стратегической полосы будет жизненно важным как для западных стран, так и для восточных, которым предоставится возможность не конфронтации, а мирного соревнования.

Прискорбно, что избранный в прошлом году парламент Грузии и президент проделали все противоположное. Вольно или невольно, они лили воду на мельницу Горбачева, действовали по сценарию, созданному московскими профессионалами, поддались на все их провокации и подорвали имидж Грузии в глазах мировой общественности, представили ее как страну азиатской деспотии, которой может управлять шах или хан. Развалили экономику и довели ее до такого состояния, что останься еще на некоторое время Горбачев, Грузия, несомненно, подписала бы любой договор. Создается впечатление, словно Горбачев и Гамсахурдия были в сговоре и, видимо, не случайно им почти одновременно пришлось уйти с арены, одному — добровольно, а другому — через кровавое озеро. И разве случайно, что в прошлом году Советская Армия, по желанию Гамсахурдия, напала на «Мхедриони», а в этом году и пальцем не пошевелила в защиту президента, несмотря на всяческие провокации, когда под именем гвардейцев Китовани президентские приспешники нападали на военные объекты?

Вскоре мы узнаем и не такое. Но вернемся к ранее поставленному вопросу: может, все же не был потерян прошед-

ший год? В выборах 28 октября 1990 года коммунистическая партия Грузии, разумеется, под диктовку Кремля, увидев, что сдержать национально-освободительное движение было невозможно, уступила путь национальному конгрессу, который не посягал на власть, и «Круглому столу», который стремился к власти, с тем, чтобы потом одна часть национального движения попрадала другую, победивший же блок предполагала скрутить непрерывными этноконфликтами и ожидаемой угрозой оппозиции. Это противостояние привело бы страну к такой пропасти, от которой ее могло спасти лишь подписание кабального союзного договора. Это был коварный план. И КГБ, в «лабораториях» которого он разрабатывался, прекрасно видел, что к власти должна была прийти хорошо изученная ими личность, которой и Мераб Костава не должен был мешать. Не знаю, как вы, но мне трудно поверить в то, что гэбэшники, всю жизнь преследовавшие Звиада Гамсахурдиа, ничего не смогли с ним сделать, кроме как отравить у него во дворе кур.

Можем припомнить и другие моменты. Звиад Гамсахурдиа не согласился с решением объявить Колхский замок домом-музеем Константина Гамсахурдиа на общественных началах, воспротивился даже мемориальной доске, но потребовал проведения ремонта. Произошел беспрецедентный случай: советское правительство на собственные средства сделало ремонт в частном доме. Более того — сыну писателя специальным, незаконным постановлением правительства был возвращен подоходный налог, суммой почти в двадцать тысяч рублей, который был получен в результате публикации многотомника писателя. Почему так происходило, почему вынесли различные приговоры задержанным по одному делу Костава и Гамсахурдиа? Почему обнаружили среди всех союзных диссидентов единственного, который по всесоюзному телевидению публично раскаялся в своей деятельности, и этот человек, к нашему позору, был грузином? Раскаялся он и во многом другом, но не перед телекамерой, а в другой камере!

Так что, компартия прекрасно знала, кому уступала дорогу к власти. Уступала не потому, чтобы после коммунистического режима установилась демократия, а для того, чтобы доказать упрямой, свободолюбивой Грузии и всему миру, что может последовать за освобождением от коммунистической диктатуры — опять диктатура! Во всем Советском Союзе разыгрывался один и тот же сценарий: совмещение партийных и руководящих должностей, благодаря чему партия сохраняла гегемонию, секретари райкомов становились председателями ис-

полкомов, так было на всех уровнях, первые секретари Центральных Комитетов совмещали председательство Верховного Совета, также совместил две должности и Горбачев. Так же вел себя и Гамсахурдия. То же означали и институт префекта и должность президента. Президент был председателем двух партий одновременно — Хельсинкского союза и Общества Ильи Праведного (немыслимый случай в истории партий) и спикером «Круглого стола». Вместе с тем он совмещал, по мнению его приспешников, обязанности библейского Моисея, святого Георгия и даже мессии — Христа. Остались неприкосновенными и другие атрибуты социалистической системы — колхозы и совхозы, не сделано ни шага для перехода к рыночной экономике, для борьбы с мафиозными и бандитскими элементами, напротив, все велось к дестабилизации, к вооружению сомнительных лиц, к созданию атмосферы безнаказанности. Достаточно вспомнить трагедию, разыгравшуюся в здании Верховного Совета Аджарии, убийство Нодара Имнадзе, ранение Мурмана Оманидзе и Аслана Абашидзе. Или, может, и это преступление было содеяно «неустановленным лицом»?

На сей раз на смену авторитарному режиму последовал авторитарный режим! Что должно было стать уроком для всех! Вот какая коварная идея была вложена в планы Кремля. Но случилось так, что в результате народного восстания режим пал, и это стало возможным лишь после развала Союза.

Национально - освободительное движение Грузии в масштабе Советского Союза стояло всегда в авангарде. Мы уже тогда боролись за статус грузинского языка, когда на Украине и в Белоруссии чуть ли не совсем закрылись национальные школы. Но при режиме Гамсахурдия мы оказались в арьергарде, где-то позади среднеазиатских республик. Так ли это? Так мы потеряли целый год? А может, мы исполнили подкрашенный национальными лозунгами долг авторитаризма, который другим еще предстоит пережить и, может, для этого им понадобятся годы? Над этим следует призадуматься. Другие страны смогут обойти эту трагедию лишь в том случае, если учтут наши уроки. Возможно, и это было нашей доброй миссией, возможно, грузинская кровь, пролитая в конце прошлого и начале этого года, была жертвой ради всего человечества, как и в трагический 9 апреля, когда наконец-то ясно проявилась вся коварная сущность империи? Развал Союза означает одновременное исчезновение двух зол, с одной стороны, имперской модели, а с другой стороны, распад авторитарной модели. На сегодня всем дол-

жно быть ясно, что если и второму злу не будет конца, то какой-либо разговор о свободе попросту излишен.

Исходя из сказанного, можно вполне четко выразить наше отношение к вновь созданному Содружеству Независимых Государств.

Для меня ясно одно. Мы должны сохранить и укрепить добрососедские отношения как с Содружеством, так и с отдельными его членами, выражающиеся во взаимовыгодных экономических договорах. При этом необходимо учесть, что еще не совсем ясны перспективы Содружества. Думается, что исключено обращение Содружества в единое государство, так как сомнительно единство взглядов членов Содружества. С самого же начала проявились материальные притязания, так, например, между Россией и Украиной, не исключены территориальные претензии между различными государствами, ни борьба, с одной стороны, между имперскими, а с другой — демократическими силами, к сожалению, не исключены и глобальные столкновения, и катаклизмы. Или включимся в уже пройденный другими этап гражданской войны?

И тогда, когда министр обороны Соединенных Штатов Америки выражает свое беспокойство по поводу Содружества, от которого, по его словам, можно ожидать всяческой опасности, можем ли мы быть спокойными?

Вот над чем стоит нам сегодня подумать. Нам следует выбрать такой путь, чтобы была выполнена наша главная миссия, о которой я говорил выше, миссия моста мира, соединяющего Азию с Европой, которую возложил на нас Господь. Может, поэтому считается наша маленькая страна уделом Богоматери?

Вероятно, по этому поводу нужна отдельная беседа. На сегодня же возникла более острая проблема. Звиад Гамсахурдиа задумал создать старое Эгрисское царство, чтобы впоследствии, как царю абхазов (по древней терминологии) Давиду Строителю, пойти на Тбилиси, дабы прогнать арабского эмира.

В возрасте Гамсахурдиа Давида Строителя уже не было живых, и он оставил после себя «Песни сожаления». Есть ли у Звиада Гамсахурдиа хотя бы способность к сожалению? Я верю, что скоро все те, кто так слепо верит ему, увидят, что за кукушка прилетела к нам из Чечни и собирается свить гнездо в Зугдиди! Родина самоотверженного Цотнэ Дадияни не потерпит «Звиада Дадияни», нет!

20 января, 1992 года.



ПОПЫТКА ДИКТАТУРЫ

Сейчас, когда пишутся эти строки, все уже позади: автоматные очереди, оружейные залпы, сотрясающие весь наш старинный квартал, огненные букеты трассирующих пуль в ночном небе, снайпер на крыше противоположного дома, вымершие, до неправдоподобности пустые улицы Сололаки, густое пламя на Руставели... Молчат обгорелые, почерневшие от огня руины дорогих сердцу зданий, сохранившиеся фасады некоторых из них — точно картонные декорации разбомбленного города из какой-то ужасной театральной постановки... Сотни людей, оставшиеся без крова, без одежды, без денег и документов, без самого необходимого, в том числе — без любимых вещей, без фамильных реликвий... А сколько погибших, сколько раненых!.. Так пришел в Тбилиси новый, 1992 год. Такими на всю жизнь запомнятся мне его первые дни — мне и моим современникам...

Знаменитый «призрак коммунизма», бродивший по Европе, в конце концов обосновался на обширнейшей территории восточной ее окраины, прихватив и Среднюю Азию, и Закавказье, да так и остался неким призраком. Счастливое будущее никак не давалось в руки, чтобы стать счастливым настоящим, а сверкающие вершины коммунизма остались сверкать лишь в воображении фанатиков. «Призрак», однако, причинил немало вреда и натворил немало бед. Одно только создание «советского человека» с его психологией и моралью чего стоит! Чего стоят великие стройки, пятилетки, коллективизация, борьба с «опиумом для народа» и с «врагами народа», ежегодные битвы за урожай и множество других, может, не менее тяжких по последствиям, реалий нашей недавней действительности!

Чем были для Грузии, с далеких дней пережившей многовековую изнурительную, стоившую морей крови, изобилующую изменами, предательствами, исполненную героизма, самопожертвования и мужества борьбу (не только за независи-

мость, но и за существование) с постоянной агрессией мусульманских Ирана и Турции, а затем утратившей государственность и пребывавшей в составе Российской империи в качестве Тифлисской и Кутаисской губерний, чем были для нее — после всего — 70 лет советской власти? Вопрос этот в рамках настоящей статьи почти риторический, ибо он является предметом, вероятно, не одного обширного исследования. И тем не менее... Принято лишь ругать эти 70 лет, но, вероятно, такая односторонняя оценка вряд ли будет объективной. Однако отрицательные последствия этих десятилетий оказались довольно тяжелыми. Не говоря о репрессиях, унесших (не однажды!) цвет грузинской интеллигенции, о поругании церкви, однозначно ведущих к бездуховности, вседозволенности и жестокости, только лишь отлучение грузинского крестьянина от земли и превращение его, по сути, в наемного рабочего изменило его психику далеко не в лучшую сторону, что немало важно для исторически аграрной страны. Разумеется, никто не знает наверняка, что и как было бы, если бы (если бы!) Грузия после 1918 года смогла пойти европейским путем развития, однако, как выяснилось в итоге, путь этот оказался несравненно более благоприятным для человека, нежели строительство коммунизма.

Как бы то ни было, железные руки советской власти постепенно и необратимо стала разъедать ржавчина, а дружная семья советских народов — походила на взбунтовавшийся ксрабль, потерявший и курс, и управление. И как-то очень стремительно произошло крушение советской власти. Стремительность эта, по-видимому, была обусловлена тем, что процесс разрушения, разложения режима шел под покровом постоянной лжи и фарисейства и не очень-то бросался в глаза. Таков был логический конец системы, созданной на эфемере, на утопии.

В недрах советского общества (я имею в виду — в Грузии) не вызрела, да и не могла вызреть здоровая политическая сила, которая заполнила бы образовавшийся вакуум власти и в условиях развала дьявольской машины советской государственности с наименьшими потерями вывела бы страну на верный путь. Хотя идея свободной, независимой Грузии, идея восстановления государственности жила в народе с тех самых пор, когда эта государственность была утрачена (для Картли и Кахети — в 1801 году, для Мегрелии — в 1864) и можно сказать, что никогда не угасала. Впервые она материализовалась в заговор 1832 года. В конце XIX — начале XX века

знамя национально-освободительного движения поднимает Илья Чавчавадзе. Идеи гуманизма, равенства, братства написаны были на этом знамени. Свет этих идей шел еще со времен Великой французской революции, которая дала стимул и национально-освободительным движениям XIX века в Испании, Греции, в той же Франции и других странах Европы. Проникая в Россию, эти идеи трансформировались на почве российской действительности и пробивались далее — в Грузию, где сливались с вольнолюбивыми устремлениями грузин. Теперь свобода и независимость обретали новую окраску — гуманизма и демократии. Это было достояние нового времени. И наконец — 1918 год! В Грузии провозглашена независимая демократическая республика. Государственность восстановлена. Правда, всего на три года. Однако короткие три года нашей истории стали тем живительным фактором, который не дал заглухнуть идее восстановления государственности, идее независимой Грузии даже в условиях советского тоталитаризма. Март 1956 года в Грузии явился по сути первым не вполне проявленным выступлением, зафиксировавшим, что национальная идея жива, что она тлеет, как уголья под золой, и при соответствующих условиях может разгореться. В семидесятые годы выпускаются подпольные самиздатовские журналы, возникают группы диссидентского толка. В конце 70-х — начале 80-х годов, пожалуй, основными направлениями, по которым разворачивается национально-освободительное движение, являются борьба за права грузин в Абхазской АССР, за первенствующую роль грузинского языка в республике, увенчавшаяся в апреле 1978 года внесением в новую Конституцию Грузинской ССР поправки, согласно которой грузинский язык сохранил статус государственного языка, реабилитация депортированных из областей Южной Грузии месхов (грузин-мусульман) и др. Работа шла серьезная и связанная с большим риском. Составлялись и подавались в правительство петиции, собирались подписи, проводились различные акции. В 1982 году выходит единственный номер нелегального журнала «Сакартвело». В 1987 году создается первая легальная организация — Общество Ильи Чавчавадзе, которое издает журнал «Иверия» — «Вестник Общества Ильи» (так значилось на обложке).

Дальнейший ход событий по сравнению со всем предыдущим процессом развития национально-освободительного движения был бурным и стремительным, и обусловлено это было

все более нараставшей слабостью и ярко выраженной тенденцией падения режима.

Наивысшего накала национально-освободительное движение достигает к апрелю 1989 года. 4 апреля Общество Ильи Чавчавадзе начинает акцию протеста против дискриминации грузин в Абхазской АССР. Лидер Партии национальной независимости И. Церетели первым перехватывает инициативу, а за ним Г. Чантурия, З. Гамсахурдия и М. Костава — они придают акции иное содержание: выдвигаются требования выхода Грузии из состава СССР, объявления ее независимым государством, вывода оккупационных войск с ее территории. Надо признать: среди многочисленных лозунгов и призывов проскальзывают довольно отчетливые шовинистические нотки, но они тонут в общем потоке возбужденных речей, и суть их не хотят осознать опьяненные близкой свободой люди. Как закончилась эта акция перед Дворцом правительства Грузии хорошо известно мировой общественности: митинг был разорван силой оружия, коммунисты окончательно дискредитировали себя, лидеры национально-освободительного движения приобрели солидный политический капитал. Акция действительно носила мирный характер и явилась по существу выражением вполне естественного и закономерного стремления грузинского народа к независимости и освобождению от оков советского режима. Трагедия 9 апреля проистекала из природы режима, с самого зарождения существовавшего на принципе силы, и была обусловлена общей для обеих сторон безответственностью — как лидеров национально-освободительного движения, не считавшихся с реальной действительностью и не признающих никакого компромисса, так и властей, все еще продолжавших сидеть в карете прошлого. Обеим сторонам не хватило политической гибкости. Жертвой стали, как обычно бывает, не повинные люди.

Кровавая волна 9 апреля высоко подбросила Звиада Гамсахурдия. Уже с осени 1988 года имя его стало раздаваться все чаще и громче. Теперь же рейтинг Гамсахурдия неудержимо и стремительно поднимается. Ему прощены все прошлые грехи — и донос на американских журналистов, и непонятная разница в мере и степени наказания его и Мераба Костава, и всенародное покаяние по телевидению, и многое другое. Политический накал общества был необычайно высок, уровень же политического мышления, политическая культура — низкими. Это — одна сторона, обеспечившая возвышение Гамсахурдия. Другой стороной послужила сама его личность. Чело-

век по натуре конфликтный, подверженный маниям и фобиям (отсюда — некая ущербность мышления и деформированность сознания), он, однако, обладал удивительным чутьем, позволявшим ему не только распознать, но и предельно эффективно использовать в своих целях настроения народа, его симпатии и антипатии, дремлющие в нем чувства и инстинкты. При этом — необычайная целеустремленность — до наглости, энергичность и беспринципность, которую невежественная толпа воспринимала как мудрость политика. Менталитет Звиада Гамсахурдиа, как и всех нас, граждан бывшего СССР, формировался в условиях устойчивого тоталитарного государства. Все мы вышли из этой тюрьмы духа, однако не все в равной мере подверглись ее воздействию. Вероятно, благодаря своей натуре, которая не обладала силой сопротивления и не могла противопоставить стойкое здоровое начало, Гамсахурдиа, впитал в себя суть режима: создание образа врага и состояние вечной борьбы с ним для самоутверждения как освободителя и победителя. Опора на невежество и целенаправленную дезинформированность масс, постоянное нагнетание психоза. Страх как один из главных рычагов власти. Конфронтация как основа внутренней и внешней политики (если можно так квалифицировать действия в этих двух направлениях).

Национально-освободительное движение может либо развиваться нормально в своем русле, либо переродиться в национал-фашистское движение. Из истории хорошо известно, какую опасность таят в себе благородные идеи, особенно — национальная идея. Она привлекательна для народа, и если ее проводниками становятся политические авантюристы, популисты и т. д., эта идея превращается в отличное оружие в их борьбе против народа же за утверждение своей власти.

Национально-освободительное движение в Грузии, увы, склонилось в сторону национализма с фашистским уклоном. Правда, З. Гамсахурдиа искренне удивлялся в одном из интервью: говорят, что я фашист, но разве у меня есть газовые камеры? А разве дело только в камерах? Мы, пожалуй, дошли бы до чего-либо в этом роде, ибо задолго до президентства, еще в начале 80-х г.г., Звиад Гамсахурдиа составлял списки агентов КГБ и гомосексуалистов, а уж в бытность президентом он с помощью верных людей преуспел в составлении списков людей, подлежащих репрессиям и, в первую очередь — известных деятелей культуры, науки и т. п.

Если долго находиться в темной комнате и вдруг очутиться на просторе, залитом ярким солнечным светом, сразу

вроде бы слепнешь, ничего не видишь. Пожалуй, нечто подобное произошло в Грузии. После тяжелого пресса режима народ был опьянен и ослеплен возможностью митинговать, требовать, выносить лозунги, о которых невообразимо было даже помыслить еще лет пять-шесть назад. Перестройка и гласность послужили как бы открытием шлюзов. Десятилетиями сдерживаемые, глубоко запрятанные стремления, чаяния, эмоции хлынули безудержными потоками, в которых голос разума потонул и заглох. 9 апреля 1989 г. дало мощный импульс этому процессу. Дестабилизация нарастала неудержимо. Гамсахурдия сумел очень быстро поднять со дна народной души ту накипь, которая присуща отнюдь не только грузинам, но и любой другой нации. Только этим можно объяснить, что люди, тысячами посещавшие митинги и рукоплещущие оратору, слушали — и будто не слышали, не расслышали ничего в его речах.

Процесс раскола и расслоения общества направлялся бывшим правозащитником с большим искусством. Видимо, в эпоху ломки и крушения любого государства в народе проявляются все темные силы, которые в определенной мере наличествуют и в натуре любой отдельной личности, но если добрая сила и разум превалируют в ней над силами зла, роль последних как движущей пружины и импульса поведения сводится к нулю. Страх быть под чьей-то рукой, страх, присущий каждой малочисленной нации, в гипертрофированном виде возобладал над разумом и природным добродушием грузин. Это была благодатная почва для Звиада Гамсахурдия, который и сам всегда был одержим различными страхами. Натравливание друг на друга представителей разных национальностей, а против всех — грузин, стало основой его национальной политики. И это в Грузии, которая в силу своего геополитического положения и того, что со времен принятия христианства стала его оплотом на крайней восточной оконечности Европы и южным рубежом, несмотря на небольшую территорию, является исторически многонациональной страной, второй, а то и единственной родиной для представителей многих народов! Внутринациональная политика для Грузии является краеугольным камнем всего здания ее государственности. Требуя от правителя подлинной мудрости и прозорливости, она должна строиться на основе толерантности, равноправия как национального, так и религиозного, но никак не на идее избранности и мессианства. Внутринациональная политика Грузии тесно увязана с ее внешней политикой. Это

тот пенъ на трудной дороге к свободе и независимости, споткнувшись о который, свернет себе шею любой государственный деятель.

За время пребывания на посту Председателя Верховного Совета, а затем Президента З. Гамсахурдиа успел накалить до предела межнациональную обстановку в республике, развязать кровопролитную войну в бывшей Юго-Осетинской АО с тяжелейшими последствиями как для осетин, так и для грузин, возродить и разжечь партикуляристические настроения — наследие феодализма — среди грузин — уроженцев различных исторических провинций — Сванэти, Картли, Кахети, Самегрелс и т. д. Более того, он сумел настроить друг против друга жителей города и деревни, расколол население на тбилисцев, в большинстве не принявших его политику, и нетбилисцев, на «хозяев» (грузин) и «гостей» (негрузин). Здесь следует все же признать, что почти по всем республикам СССР пошла волна шовинистических настроений той или иной силы. Это обстоятельство, по-видимому, не случайного характера, является предметом отдельного разговора. Так или иначе, эта волна была успешно использована как дестабилизатор в целях опять же утверждения своей власти и накопления политических очков. Масса, толпа, играла роль слепого орудия. Но немаловажно, что шовинистические настроения не получили всенародного распространения и поддержки, более того — в целом Грузия этого не приняла, хоть сделано было немало: постоянные передачи по теле- и радиовещанию, речи на митингах об избранности грузинской нации, об особой миссии Грузии, о том, что «гости должны разъезжаться по своим домам», что каждый хорош только на своей родине, что коренные жители (грузины) должны иметь преимущества перед некоренными, что нация должна очиститься и прочие, хорошо знакомые, но потускневшие со времен незабвенного Адольфа теории и идеи.

Звиад Гамсахурдиа мог удержаться на плаву, в лидерах, только лишь в условиях дестабилизации и потому, сознательно или чисто интуитивно, подсознательно, он избрал ее своей постоянной спутницей. Правозащитная деятельность его в предыдущие годы тоже в значительной мере была обусловлена стремлением возмутить, внести смуту и выделиться таким образом, ибо, как показала действительность, о людях и их бедах, об их жизни и физическом существовании он заботился менее всего. Еще задолго до своего возвышения он разжег кампанию средневекового мракобесия, призывая на митингах

сжигать и уничтожать книги неугодных писателей. И сжигали, и рвали — к нашему позору! Громили типографии и редакции, в частности редакцию газеты «Картули филми». Устроили погром Метэхского театра, ворвавшись в вечер премьеры спектакля «Иисус из Назарета», постановку которой благословил сам его овятейшество Католикос — патриарх Всея Грузии Илья II. И было это сделано под покровом истой религиозности — дескать, кощунство играть на сцене пьесу с жизни Спасителя. Никто и не вспомнил, и не возразил, что не кощунство это, а благо, что по всему христианскому миру играли и играют мистерии на библейские и евангельские темы, целые оперы создаются, что кощунство и богохульство другое, а именно хотя бы то, что рядом с ликами Спасителя, Богоматери и святых помещают портреты Гамсахурдиа и зажигают ему свечи! С именем Господа на устах Гамсахурдиа и его приспешники творили поистине дьявольские дела. Одним из таких дел было нагнетание психоза против депортированных в 1944 г. из Южной Грузии месхов (грузин-мусульман), полумиллионные полчища которых якобы то уже стоят лагерем на Красном мосту (граница с Азербайджаном), то прибыли в аэропорт, чтобы обрушиться на несчастных грузин. Ведь не так давно, всего несколько лет назад Гамсахурдиа, довольно хорошо знакомый с этой тяжелой проблемой, ратовал за реабилитацию и за возвращение в Грузию оклеветанного, на протяжении столетий задуренного и измученного народа, омусульманенных потомков древних месхов, одного из основных племен, из которых сложилась грузинская нация. Тогда борьба за реабилитацию депортированных месхов З. Гамсахурдиа как диссиденту могла сослужить (и сослужила!) хорошую службу. Проблема месхов сложнейшая, требующая научного подхода и большой осторожности, она является предметом изучения и последовательного разрешения. Это тяжелое наследие грузинской истории, включающей и 70 лет советской власти, еще более запутавшие проблему. За последние 2 с лишним года Гамсахурдиа, опять-таки ради накопления политического капитала, загнал проблему в тупик. Жизнь и смерть людей и тут для него ничего не стоили. Ораторы на митингах (митинги и палатки перед Дворцом правительства как стояли до 28 октября 1990 года, так и остались в эпоху президентства), стараясь перещеголять друг друга, истерическими речами разжигали религиозный фанатизм. Если бы кто-нибудь осмелился выступить против, его бы затоптала толпа.

В июне 1990 года был спровоцирован погром проживав-

ших в одном из сел в Картли месхов, бежавших на историческую родину от Ферганского погрома. Примечательно, что громили семью Двалидзе, сохранившую и исконную грузинскую фамилию, и грузинскую национальность в соответствующей графе паспорта, и что главное — грузинское самосознание. Депортированные однажды, в 1944 г., они стали беженцами из Ферганы в 1989 и вторично беженцами уже из Грузии! Трудно перечесть все беды, исходившие от президента и его приспешников. Невольно вспоминается офорбессмертного Франсиско Гойи: «Сон разума рождает чудовищ»!

Средства массовой информации — пресса, радио, телевидение — находились под жестким диктатом. Ни о какой форме выражения через их посредство отличного мнения не могло быть и речи.

Сам Звиад Гамсахурдия до последнего не соглашался ни на какие диалоги или дебаты. Шла возмутительная кампания лжи, фарисейства и клеветы. Президент объявлялся спасителем отечества, избавившим его от цепей коммунизма, свергнувшим режим чуть не на всей территории бывшего Союза, к оппозиционной интеллигенции были намертво приклеены ярлыки «криминалов», «бандитов», «врагов нации» и т. д. В рамках настоящей статьи невозможно уместить даже кратчайшее описание всех деяний, имевших место в это, совсем недавнее время, упомянем лишь о широкоизвестной Самтредской забастовке на железной дороге, принесшей Грузии огромные убытки, но преподнесенной президентом как акция, подрывающая экономику СССР (!), а также о безобразиях во время президентской предвыборной кампании в мае 1991 г.

Римоккий плебс, протестуя, требовал хлеба и зрелищ. Гамсахурдия не помышлял о хлебе. Не помышлял потому, что и сам он, и его правительство были недееспособны. Страну лихорадило от митингов, на которые организованно свозились люди из городов и сел, с предприятий столицы. Зрелища заменились теми же митингами, акциями, манифестациями и т. д. Таков был стиль жизни. Все это делалось под развевающимиися флагами патриотизма и борьбы за свободу и независимость, с криками «с нами Бог!», делалось в поисках опоры, а опора была на невежественную фанатичную толпу (не исключая щедрого финансирования отдельных ее представителей), ибо интеллигенция довольно быстро раскусила ядовитые плоды, созревшие, увы, не без ее участия.

И все же, думается, все происшедшее — я имею в виду

возвышение Гамсахурдиа — было в определенной степени закономерным для нас, грузин, с нашей многотрудной историей, приведшей страну в русло развития большевистско-советской системы, которая зиждилась на жесточайшей диктатуре, на подавлении любой формы протеста, противодействия, инакомыслия, на культивировании особого рода государства — изолированного, просуществовавшего несколько десятилетий за железным занавесом. Это повлекло огромную отсталость, инертность мысли, политической в том числе. Однако, несмотря на все и к чести Грузии, она довольно быстро опомнилась — диктатура осталась лишь попыткой, грузинский народ не принял ее. Справедливости ради заметим, что и сам З. Гамсахурдиа постоянно играл против себя. Ужасно, что пролилась кровь, каждая новая жертва братоубийственной войны разрывала сердце, ведь мы видели и даже знали многих из тех мальчиков, которые шли с автоматами, это была война не там, далеко (расстояние многое смягчает), а здесь, на уютных улицах, где знакома и исхожена каждая пядь асфальта, на улицах города, который был спасен и сохранен в Великую Отечественную войну, как утверждала моя бабушка, самой Святой Марией, внявшей горячим мольбам. И вот!.. Но из того тупика, в который мы зашли, не было другого выхода, не было мирного пути, ибо президент и послушный ему парламент (за исключением оппозиционной фракции) не желали и слышать ни о каких требованиях, ни о какой оппозиции, ни с каком диалоге. Если бы не грянули выстрелы из Дворца правительства в 8 ч. 15 м. утра 22 декабря, гвардия Тенгиза Китовани и на этот раз не начала бы военных действий, но все равно, то же самое произошло бы завтра, послезавтра, через три дня. Противостояние оказалось слишком сильным, взрыв был неизбежен. Не будем касаться темы «президент и экономика страны». Но: президент, сеющий смуту и раскол нации, президент, призывающий к физической расправе с оппозицией, президент, нагнетающий истерию и психоз, ведущий свой народ к полной изоляции, призывающий своих сторонников с оружием в руках бежать со всех концов страны на его защиту от «банд» оппозиции и «так называемой интеллигенции», президент, стреляющий в собственный народ с целью спровоцировать столкновение сторон, президент, который даже перед лицом явной опасности перерастания вооруженного конфликта в гражданскую войну не согласен удовлетворить требование народа и уйти в отставку с единственной целью — прекратить кровопролитие, президент, заявивший во всеуслышание, что

пусть даже в Грузии останется лишь один грузин — он, Зви-
ад Гамсахурдна, будет президентом... Может ли такой прези-
дент быть у нормальной страны, стремящейся к демократии
и независимости?.. Думаю, что не может.

Существует мнение, что события 22.XII.1991 г. — 6.I.1992 г.
— поражение самой Грузии. Я никак не могу с этим согла-
ситься. Поражением было бы принятие режима, который
пытался установить президент. Я полагаю, что события эти,
к великой печали нашей обогранные кровью, есть завершение
борьбы со злом, знаменующее победу света над мракобесием,
и являющееся залогом того, что Грузия станет не только сво-
бодной и независимой, но — демократической и цивилизован-
ной страной. Поэтому думается, что эти события, подведшие
черту под бесплодной попыткой установления диктатуры, вер-
нувшие национально-освободительному движению его изначаль-
ное содержание и направление, явившиеся выражением про-
теста широких слоев населения, вооруженных формирований
и большой части Национальной гвардии, правомерно квали-
фицировать как демократическую революцию.



Война с самим собой

(БЕСЕДУЮТ ПИСАТЕЛЬ ДЖЕМАЛ КАРЧХАДЗЕ И
КРИТИК РОСТОМ ЧХЕИДЗЕ)

Ростом Чхеидзе — Батоно Джемал, за короткое время наша общественно - политическая жизнь претерпела кардинальные изменения, и это не могло не отразиться на литературе. Правда, истинный писатель, по существу, не следует смене времен, и тем не менее определенные изменения в его творчестве (как в проблематике или тематике, так и в стиле) не исключаются... Какой представляется вам сегодня судьба литературы и претерпели ли какие-либо изменения ваши художественные воззрения?

Джемал Карчхадзе — Сила света зависит от источника света. Судьба литературы — от судьбы страны. Какова же будет судьба нашей страны, провидеть (во всяком случае, рациональным путем) в наше переменчивое, смутное время, наверное, невозможно, поскольку существует масса взаимоисключающих условий, создающих еще большее число взаимоисключающих комбинаций. Несомненно, что политические перемены оказывают большое влияние на литературу и писателей и, вообще, утверждение — «я не следую смене времен», — на мой взгляд, художественный идеализм и в связи с действительностью звучит скорее условно. Смена времен сама влечет нас за собой, и никому этого не избежать. Если взглянуть на эпоху как на объективную сумму субъективного опыта (что, я думаю, вполне допустимо), жизнь, наверное, есть не что иное, как взаимоотношения человека с эпохой. А чтобы заглянуть в будущее, надо знать силы, вступающие в эти взаимоотношения.

* Беседа на грузинском языке была опубликована в минувшем году в журнале «Критика».

Но что мы знаем о «смене времен», которая происходит на наших глазах? То, что скорость ее головокружительна, а масштабы грандиозны; то, что эпоха наша — что минное поле. Но мы не знаем главного — какой нравственный заряд направляет ее. И поскольку наше субъективное знание неполно, особенное значение приобретает общественное знание, которое во взаимоотношениях с этими переменами должно создать новую эпоху — свое будущее. Здесь наверняка можно сказать следующее — в этих глобальных переменных наше общество ищет только лишь нерв свободы. Это и естественно: стремление к свободе — врожденное у человека. Тем более оно естественно для узника, получившего реальный шанс выйти из тюрьмы. Но тут возникает неожиданный вопрос, о котором наше общество, к сожалению, не задумывается: все же, что такое свобода?

Ростом Чхендзе — Когда я начал разговор с вопроса о судьбе литературы — этой острейшей проблеме нашей жизни, я думал логически перейти к следующему: что такое свобода? И меня не удивляет, что вы сами подошли к нему (а назвав его неожиданным, вероятно, имели в виду направление и фон общественных взглядов): в конце концов, литература может сказать об истинной свободе наиболее четким образом с аналитической глубиной и, опираясь на общие нравственные принципы, учитывая особенности сегодняшнего дня, способствовать ее утверждению. И еще: «смена времен» в связи с действительностью, выражение, понятно, условное, и именно это условное содержание я имел в виду, прочную систему художественного воображения, которая не несет на себе печати эпохи, хотя и не совсем свободна от нее... Итак, вы спросили, что такое свобода?

Джемал Карчхадзе — К сожалению, задать этот вопрос легче, чем ответить на него. Свобода — понятие, которому можно дать массу определений, причем каждое из них под определенным углом будет верным, но полным и всеобъемлющим — ни одно. Я понимаю приблизительно так: в рамках Вселенной, где господствуют материя и множество, свобода — это гармония во взаимоотношениях независимых; а если выйти за рамки Вселенной и говорить в абсолютном значении, тогда это внутренний образ, хотите, система, с помощью которой в чувственном мире явлен высочайший принцип, но эта проблема в данном случае не главная. Главное тот минимум, который непременно должно знать общество, если вместо свободы оно не хочет остаться с маской свободы: когда мы говорим

о свободе, подразумевается понятие в целом. Часть свободы это не свобода. Кусок хлеба — хлеб, но часть человека — не человек. Часть свободы — не свобода, и смешение в этом вопросе части с целым может привести к непоправимому результату. Я говорю об этом потому, что сегодня наше общество в абсолютном своем большинстве отождествляет понятие «свобода» с национальной свободой, личностная свобода рассматривается как ее, целого, часть. Это опасная ошибка, ставящая правду с ног на голову. В действительности именно личностная свобода — целое, а национальная свобода — ее часть, и как аргумент, достаточно сказать: свободный человек — Божья воля, свободный народ — воля людей. Если согласиться с тем, что я уже говорил (в чем я лично убежден), в частности, что в чувственном мире высочайший принцип явлен в виде свободы и что религиозное чувство по существу — это пульсация идеи свободы, то национальную свободу, оторванную от свободы личностной, можно сравнить со своего рода идолопоклонством. Истинный Бог проявляется только лишь в личностной свободе, ибо личностная свобода это тот луч, с помощью которого человек чувствует Бога. В этом смысле мы — пока еще атеистическое общество (может быть, потому мы и поминаем поминутно Господа — о воде в пустыне говорят чаще, чем у родника). Если мы не уверуем в истинного Бога, наша литература также будет идолопоклоннической, и никакие перемены ей не помогут, тем более, что идолопоклонство — стихийно и постольку агрессивно, в результате чего в наших головах не могут мирно уживаться две отличные друг от друга мысли — немедленно происходит «короткое замыкание». Это же — дурное предзнаменование. Рискуя навлечь на себя гнев, все же скажу: лицемерие сегодня опаснее, чем вчера. Сегодня в народе по пальцам можно пересчитать людей, знающих (не только исходя из сухой логики, но и по существу — умом и сердцем), что такое свобода. Этому есть объективная причина. Я говорил уже о взаимоотношениях эпохи и человека. Эти отношения двоякого рода, и каждое из них приводит к резко отличающемуся результату. Если перемены, принесенные эпохой, естественны и закономерны, тогда и реакция человека естественна, и гармония развития не нарушается. Но ежели изменения неестественны, «революционны», то и реакция человека неминуемо неестественна. Какого бы характера ни была эта реакция — следуем мы этим переменам, изменяем собственным принципам и превращаемся в героев, не следуем и неотвратимо отстаем от жизни или замираем на месте и всю

жизнь живем между двумя огнями — она в любом случае неестественна и нарушает соотношение зарядов в психике. Если подобное кривое время и аритмия в психике длится долгое время, инстинкт самосохранения, не находя иного пути, признает эту неестественность как неотвратимость, смиряется и стремится приспособиться. Но аномальность реальной обстановки этим не снимается, она оседает на дно психики, что в конце концов создает своего рода коэффициент аномальности. Наша эпоха, в которую все основные человеческие ценности были поставлены с ног на голову, в силу определенных причин (это — тема другого разговора) весьма и весьма затянулась, и коэффициент нашей аномальности, соответственно, достаточно высок. Вчерашние герои снимают интернациональные ордена, освобождая грудь для орденов национальных; мафия с правого берега перебирается на левый и, судя по направлению ветра, похоже, эта операция увенчается успехом; вновь самое действенное оружие и надежный принцип — временничество, и полку хамелеонов все прибывает. Вообще все вокруг свидетельствует о том, что наша свобода — еще в темной темнице, куда ее в свое время бросил режим. У этой темницы много щелей, но к свету ведет только одна, остальные соединяются с другими темницами, которыми полна преисподняя. Если народ твердо решил выйти к свету, он должен, в первую очередь, убрать с глаз повязку и усвоить азбуку свободы; в противном случае, как сидим мы сейчас в темноте, так и будем сидеть, как готовы мы сегодня распять правду именем большинства, так и завтра будем готовы. В такое время литература должна сказать свое слово, но, похоже, она прежде других признала естественность неестественного. Во всяком случае сегодня уже ясно, что литература надолго утратила не только чувство свободы, но и чувство достоинства (понятно, я имею в виду общую ситуацию, а не отдельных писателей). Подтверждений этому можно найти немало, но самое характерное и наглядное — то поразительное упорство, с которым большая часть грузинских писателей (причем не только те, кто пытается сохранить статус-кво, но и те, у кого нет этого стимула, что говорит об их индифферентности и эгоистическом равнодушии) по сей день цепляется за организационную структуру Союза писателей, этой кровавой машины, на протяжении десятилетий боровшейся с божественным духом творчества и сегодня пропитанной консервативным духом централизации и нивелирования и являющейся главнейшим тормозом на пути освобождения литературы. Похоже, литература отка-

залась (во всяком случае, на данном этапе и, вероятно, надолго) от своей исторической миссии предводителя народа. Одним словом, для того, чтобы перемены были не только реальными, но и добрыми, и все сферы нашей жизни (соответственно и литература) освободились бы и от насилия, и от идеологии насилия, которая занимает в нашей психике место, предназначенное свободе, мы должны объявить решительную борьбу самим себе... Короче, любые изменения в жизни и литературе для меня ценны, если они ведут к свободе. И хотя картина получилась пессимистичной, думаю, лучше сегодня сказать правду, чем завтра сожалеть, почему мы этого не делали вчера, может быть, это помогло бы делу... Что касается меня, моей профессиональной деятельности, пока налицо только признаки кризиса. Не знаю, как другим, но мне, когда я нахожусь в эпицентре таких крушений, нужно время, чтобы поймать фокус и зафиксировать свою правду. Вообще то, что происходит, отнюдь не неожиданно. В эпоху господства Хрущева, помнится, мы пытались определить приблизительную дату падения режима. Но грохот крушения оказался оглушительным. Здесь я хочу остановиться на одной психологической детали, которая может быть интересна, поскольку она скорее общая, нежели частная: я всегда придерживался мнения, что человек, по существу, сам распоряжается собой, что внутренняя свобода неприкосновенна, поскольку насилие может запретить слово, но не мысль или, если выразиться более радикально, может посягнуть на жизнь, но не на бессмертие. В принципе, наверное, так и есть — в конце концов, истинная свобода состоит не в освобождении, но в познании свободы. Впрочем, теория теорией, но когда лед тронулся, я почувствовал, параллельно начали рушиться такие пласты в моем существе, о наличии которых я и не подозревал. И тогда я осознал со всей ясностью, в какой глубокой яме я, оказывается, нахожусь, с чем пытался примириться и насколько высок мой личный коэффициент аномальности. В таких условиях мне трудно сосредоточиться. Чтобы уметь уйти в творчество в подобную эпоху кардинальных переломов, надо быть тем, кем я не являюсь — «специфическим писателем», таким писателем, который рожден быть только и только им.

Ростом Чхеидзе — После 50-х годов в нашей литературе постепенно открылась дорога для стилевых поисков. Подобные поиски, причем довольно смелые и художественно убедительные, велись даже в тяжелые 30-е, 40-е и в 50-е годы, но тогда это требовало преодоления огромных препятствий. Только

упорная воля и самоотвержение могли противостоять репрессиям и гонениям, направленным против стилевой самобытности. И хотя острое неприятие и явное осуждение стилевых новаций прекратилось, тем не менее эта псевдолитературная инерция привела к тому, что критику все меньше и меньше волнует анализ стиля писателя. Подобное положение должно измениться, если мы действительно хотим иметь литературную критику, которая создала бы не призрачную, а действительно литературную среду. И вот все более обостряется желание разобраться в стилевых особенностях, провести четкое разграничение между ними, определить новизну и взаимовлияния. Как вы смотрите на проблему стиля и на необходимость изучения пятнадцативековой грузинской литературы именно с этой точки зрения?

Джемал Карчхадзе — Ничего удивительного в том, что в эпоху дремучего материализма стилевые поиски воспринимались враждебно и всячески преследовались. Борьба со стилем — одно из звеньев крестоносной войны против творчества. А война против творчества была необходима, поскольку творчество создает насильно реальную угрозу. Говоря по правде, никто не знает в действительности, что есть то, что мы зовем творчеством, но и под определенным углом зрения, я думаю, и ему можно дать определение: творчество (как процесс, а не результат, что отнюдь не одно и то же) — это ностальгическое воспоминание о бесконечности. И если даже в этом определении нет того процента истины, которое дает ему право на существование, я всегда буду отстаивать мысль, что творчество по своей природе надматериально. Возможно, адепты материализма и не подозревали об этом, зато чувство опасности у них было развито до предела, так что под конец достигло уровня государственного гротеска. Этот гротеск имел преимущество: поскольку повсюду чудился враг, то и настоящему врагу некуда было деться. Но как быть с этим врагом? «Творческое раскулачивание» невозможно. Способность к творчеству — врожденная у человека, даже своего рода функция его. Поэтому конфискации она не подлежит. Способность к творчеству у человека не отнимешь, как не отнимешь, скажем, день его рождения. Надо было искать иной путь, и жрецы идеологии нашли метод, который давал возможность растлить творчество до такой степени, что оно даже будучи не в состоянии служить материализму, не могло найти пути к здоровому идеализму. Этот метод — социалистический реализм, метод нивелирования, причем такого нивелирования, когда акцент

переносится на одно какое-нибудь свойство. После того, как внимание сознательно сконцентрировано в определенной, заранее избранной точке, прокрустовая работа значительно облегчается. Главный огонь был направлен на стиль, т. е. на стиль — неусыпный враг тоталитаризма, индивидуальность (режим пугало и то обстоятельство, что единство личностных стилевых индивидуальностей создает новую, гораздо более грозную индивидуальность — национальную стилевую индивидуальность. Коммунистический интернационализм, естественно, не мог с этим мириться). Так произошло нивелирование литературы идеологическим приматом. Так был разгромлен стиль (в широком смысле понятия). Это была общая тюрьма, в которой оказались заточенными литературные жанры. И все же литература в сравнении с критикой имела преимущества. Дело в том, что основное свойство творчества — притчевость, под ее покровом литература хотя бы отчасти сумела спасти себя (в первую очередь, это касается именно сферы стиля). Критика не сумела. Критика, по сути, призвана расшифровывать тайны иносказания, рационализировать царство чувств, поэтому она была связана по рукам и ногам гораздо более сильно и гораздо более основательно прикована к идеологии. Проявление стилевых особенностей критика попросту не должна была замечать. С другой стороны, обходить стиль стороной для критики то же, что и для астронома, изучающего солнечную систему, не замечать Солнце. Функция критики, сила ее воздействия была низведена до нуля. Даже значение самого слова крайне сузилось, оно стало чуть ли не ругательным. Поэтому когда произошла частичная «легализация» стилевых поисков, критика, на мой взгляд, не смогла идти в ногу с литературой. Она должна была начинать все сначала. Сейчас, когда критика получила не иллюзорную, но настоящую свободу, перед ней открываются большие перспективы и весьма интересная, но довольно трудная задача: восстановить истинную шкалу ценностей. Она должна восстановить литературную эпоху, как восстанавливают разрушенный от землетрясения город.

Ростом Чхеидзе — Хорошее сравнение — как город, разрушенный землетрясением. Но литературную эпоху никогда не восстановить, если к ценностям подходить поверхностно и равнодушно и мерить их искривленной мерой, если под пылью, поднятой ураганом, действительно не видеть «город» и интуитивно не чувствовать его величия и красоты. Этот тот случай, когда, не уверовав, не узришь. А уверовав и взглянув на отошедшую эпоху ясным взглядом, можно сказать, что грузин-

ская литература нашего века чудом спаслась сама и спасла от гибели дух нации — хотя для этого ей пришлось преодолеть немало препятствий. Литература все же идет своим путем со своими нравственными идеалами. В этом смысле во многих отношениях превосходная книга Акакия Бакрадзе «Укрощение литературы», безусловно, была бы односторонним осмыслением и оценкой литературы нашего века (точнее, с 20-х годов по 80-е), если бы сам автор не посчитал ее таковой и не счел бы нужным создать вторую часть, о содержании которой говорит ее название — «Спасение»... Вы говорили о городе, разрушенном землетрясением...

Джемал Карчхадзе — Да, рассеять искусственно созданный мрак в литературной эпохе и определить всему свое истинное место — сегодня одна из самых завидных задач критики и, полностью с вами согласен, особое значение в этом деле приобретает анализ стиля. Стиль — это кровеносная система произведения, его русло и, так сказать, отпечаток пальца творца, символ сущности, в котором читается сущность. Если условно сравнить литературу с прокладкой дороги, критика — в основном, анализ стиля — электроосвещение на этой дороге. Но критики должны забыть свои старые привычки, когда они не читали произведение, а только просматривали его. Сейчас этого будет недостаточно. Невозможно будет сегодня отделяться общими фразами и неуместными искусственными концепциями. Это, кроме того, что несерьезно, еще и некомпетентно. Проблески, естественно, были и есть и у критики, но нет интенсивного, досконального копания в стиле. А подобное копание — возможно, логическая связь здесь туманна, но я в этом глубоко убежден, — способно оживить даже нашу замершую литературную жизнь. Читатель соскучился по такому анализу, который делает, скажем, Эрх Аугурбах, когда на примере небольшого эпизода умудряется увидеть сам и показать читателю и произведение, и писателя, и эпоху, и историческую и национальную психику, и множество других тайн, благодаря чему его анализ сам становится предметом эстетики и источником интеллектуального наслаждения. В этом смысле наша великая литература — великая и своим возрастом, и своим качеством — представляет собой действительно благодатную почву. По существу мы свою духовную культуру знаем весьма поверхностно. История духа и исторический дух заложены в культуре нации. Систематический стилиевой анализ литературы может не только внести больше порядка и света в историю литературы, но выявить общегрузин-

ский литературный стиль, может, с одной стороны, выделить его самобытность и неповторимость в мировой литературной палитре, с другой, приблизить нас к собственным корням и осветить путь к самопознанию.

Ростом Чхеидзе — В своей беседе с критиком Акакием Миндиашвили («От диалога к монологу») вы сказали, что не знаете, продолжателем какой литературной традиции являетесь. И еще: я не знаю, отметили вы, каков мой стиль, знаю только, что обладаю своим собственным, индивидуальным стилем, но не смогу проанализировать его. Эти ваши слова свидетельствуют о том, что вы никогда особенно не задумывались о своем стиле, как видно, не считали необходимым самому определить свои творческие особенности и значение. Пусть не досконально, но, может быть, вы все-таки охарактеризуете свой оригинальный стиль, его мыслительную или языковую стороны... Мнение самого писателя всегда интересно, невзирая на то, примут ли к сведению критика и литературоведение то или иное его наблюдение.

Моя настойчивость вызвана и тем, что вашей манере письма свойственна удивительная способность к преобразению: это не постепенное изменение стиля (хотя бы и четко просматривающееся в результате обогащения опытом и расширения круга интересов), но одновременное создание стилистически отличных друг от друга рассказов. Литературной критикой уже отмечена эта отличительная черта вашего творчества (довольно редкая не только в нашей литературе, но в литературе вообще) и в пример приводятся четыре рассказа: «Мариана», «Операция «тетя Тасо», «Иги» и «Время» — трудно представить, что они написаны одним человеком.

Для уточнения: ваши поиски в области стиля в основном все же происходят в пределах двух художественно-эстетических потоков?

Джемал Карчхадзе — Среди многочисленных стилевых граней есть одна удивительная грань, которая исходит из скрытых глубин взаимоотношений и подтверждает таинственный характер творчества: связь стилевых признаков конкретного произведения с общими основами авторского стиля убеждает в том, что произведение, даже после того, как автором поставлена последняя точка, не является абсолютно независимым явлением. За ним всегда стоит творец (отнюдь не в переносном смысле), как ключ, без которого невозможно правильно расшифровать код и объяснить символы. Можно сказать, мера достоинств и недостатков произведения в определенном смысле

находится вне его. Эта странная связь обнаруживается и в повседневном «творчестве»: два человека совершают один и тот же поступок. Одному он идет, другому нет. Более того: одному прибавляет достоинства, другого позорит. В литературе ведь масса прекрасных мыслей, строк или пассажей, достоинство которых — где-то в недоступной абстрактной эстетике. К примеру, строка Галактиона «Когда в Цицамури убили Илью...» — казалось бы беспечная, фамильярная, неуважительная, строка, в которой как бы между прочим говорится о величайшей трагедии и позоре Грузии, под пером любого другого поэта прозвучала бы пошло или кощунственно, и только та удивительная сила, что зовется тайной Галактиона, возводит ее в ранг истинной поэзии. Эта грань стиля, думаю, весьма значительная. Надо всегда иметь в виду, чем бы ни был стиль, он — не статичный результат чего-то, а вечная связь в динамике. Вообще стиль настолько туманное и лукавое понятие, что о нем можно говорить бесконечно. Но собственному стилю трудно дать объективную оценку, ибо собственный стиль — не объект. Когда я признал свою некомпетентность в данном вопросе, я именно это имел в виду. Я и сейчас могу подтвердить свое незнание в этой сфере и добавлю: я действительно не понимаю, что вы имеете в виду под двумя художественно-эстетическими потоками, впрочем, если, с одной стороны, стиль — условие для проявления не только внутреннего мира, но и самой формы его существования, а, с другой стороны, человек постоянно исследует самого себя (если, конечно, целиком не доверяется инстинктам), образно выражаясь, наверное, можно говорить о некоторых составных компонентах. Прежде всего человек — субъект не в чистом виде, в формировании его натуры участвует множество объективных факторов: генетика, национальность, религия, традиция, общественная психика, политическая обстановка, социальный быт, воспитание, образование, окружающая среда... Это факторы, определяющие нравственность и характер человека, или создающие объективные основы стиля (эти объективные основы, увиденные с более высокой точки, являются субъективным стилем нации). В этом смысле объективные основы моего литературного стиля — общегрузинский литературный стиль. Могу добавить, что европейское культурное наследие (я не имею в виду другие стороны духовности) мне ближе, чем восточное; в виду внутренних своих склонностей отдаю предпочтение интеллектуальному исследованию и, по возможности, чистой литературной форме. Но все это вкупе только тогда становится стилем, когда при-

существует нечто главное — индивидуальность, скажем так, субъективное нечто, что вдыхает жизнь и делает независимыми объективные основы. Если стиль условно разделить на две части, на общую, внутреннюю, ищущую и конкретную, внешнюю, выразительную, исходящую из собственной натуры, можно сказать, что существенными признаками моего внутреннего стиля являются: перевес рационализма над интуицией; почти что всеобъемлющее сомнение, не оставляющее без альтернативы даже самое твердое знание; склонность к морализации; определенная художественная осторожность; стремление к общим глубинам, порой выливающееся в беспредметные рассуждения... Что еще? Я мог бы назвать и более хорошие свойства, но, думаю, это менее интересно... С точки зрения же внешнего проявления главными признаками можно посчитать, наверное, стремление к композиционной целостности и ясности характеров: кроме того, я стараюсь не перегружать сюжетную линию, не нарушать естественность внутреннего ритма; люблю тугую, законченную фразу; не избегаю (скорее наоборот) синтаксической сложности, что позволяет мне сохранять стройность мысли. Скажу уж и то, что есть слова, — хотя этому нет никакой «объективной причины» — которые мне чужие, и потому я их не употребляю. Что касается преобразования, этот вопрос, мне кажется, требует прояснения. Если речь идет о внешней, конкретной стороне стиля (которую, видимо, можно назвать манерой), подобное преобразование время от времени необходимо, к примеру, в названных вами четырех рассказах мир персонажей увиден под субъективным, индивидуальным углом. Для этого автору нужно влезть в шкуру своего героя, так сказать, принять его стиль, в противном случае прямолинейности и однообразия не избежать. Надеюсь, вы имели в виду именно такое преобразование, а не изменение стиля вообще, естественного его русла. Подобное преобразование очень опасно, ибо, где нет собственного русла, есть ложь.

Ростом Чхеидзе — Конечно, я имел в виду именно это преобразование, а общий стиль в этих рассказах неизмекен...

Вашему читателю известно, что у вас твердые литературные принципы, что вы не поддаетесь ни конъюнктуре, ни модным увлечениям, хотя бы той же самой «мифомании», которая десять лет назад захватила буквально всех. Ваш взгляд на моду в литературе ясен, не могли бы вы теоретически подкрепить его?

Джемал Карчхадзе — Против моды, объективно, я ничего не имею, лояльно отношусь к любой моде, в том числе и

литературной, поскольку убежден, мода безвредна, во всяком случае, если она и приносит вред, то вместе с уравнивающей его (если не большей) пользой. Подует ветер, поднимет пыль, сорвет листья с деревьев, поиграет ими, потом стихнет, и пыль уляжется, и листья лягут ковром. Все как будто — ничего больше. В действительности же ветер несет с собой пыльцу растений, оплодотворяющую другие растения, которые, кто знает, сколько времени дожидались этого ветра. Не буду приводить примеры, но я уверен, в истории литературы найдутся не один и не два писателя, которым именно мода помогла найти себя, свой жанр, свой стиль, свое творческое назначение. Под лежащий камень вода не течет, а многим из тех камней, которые она уносит с собой, находит лучшее место. Впрочем, надо отметить, что мое личное отношение к моде иное. Скажем, когда в нашей литературе был пик увлечения мифом, если бы на меня в то время насел сам черт и поднял бы мифологический шум (не в связи с модой, а в связи с тем, что такое вообще не исключено), я бы не услышал его и избежал бы соблазна именно по той причине, что это было модно. Поступок неоправданный и, строго говоря, может быть, хуже, чем неоправданный, но такова субъективная действительность и, сколько ни скрывай ее, такой и останется.

Ростом Чхеидзе — Художественная ткань вашего «Каравана» не имеет ярко выраженного композиционного стержня. Ясно только одно — это, наверняка, сделано намеренно, ибо и роман «Жилец», и рассказы говорят о вашем мастерстве построения сюжета. Постольку развернутая фабула «Каравана» представляется поиском в романной сфере. В этом отношении интересен также «Зебулони», жанр которого вы определили, как цикл рассказов, но по своему построению он скорее своеобразного типа роман. Это тот случай, когда выражения «цикл рассказов» и «роман» — условные определения... Образцы и теоретическое обоснование такого типа произведений встречаются в американской литературе нашего века. Есть они и в нашей литературе (классические примеры — «Гиви Шадури» Миханла Джавахишвили и «Древо желания» Георгия Леонидзе), и они требуют специального исследования.

Джемал Карчхадзе — Если здравый смысл не изменяет писателю и он не воображает, что достиг возможных глубин и овладел золотыми слитками истины, он знает, все, что он напишет, есть поиск и упражнение. Впрочем, путь поисков — ветвистый путь, и в этом смысле для создания «Каравана» имелся толчок (не главный, разумеется). Это было соображение, что

я всегда исследую человека в особенно напряженной, близкой к экстремальной, ситуации. По правде говоря, я не знал об этом. И все еще не веря в это до конца, но уже ^{усомнившись}, решил показать на этот раз обычного человека в обыденной, повседневной жизни, принадлежащего, правда, к более высокому, чем простые люди, слою, но по существу ничем не выделяющегося; человек этот, хоть он и не знает об этом, пленник и дитя своей эпохи; ему чужды сильные чувства (даже протест его самолимитирован), он постоянно приближается к точке кипения, но никогда не закипает. Одним словом, повседневный герой в повседневной обстановке, и если не учитывать импульса к самовоспитанию, само по себе ничего не развивается до той степени, чтобы создалось нечто новое. Это весьма опасный путь, поэтому необходимы были (именно к этому я и стремился) особенная художественная точность и наглядность характеров и эпизодов, чтобы компенсировать читателю отсутствие остроты сюжета (здесь мне обязательно хочется сказать, я должен был отметить и раньше — когда я говорю о своих произведениях, я имею в виду цель, а не результат, что, естественно, не может быть предметом обсуждения с моей стороны). Что касается «Зебулони», под конец и я назвал его романом, хотя не придаю этому значения. Поначалу это был цикл рассказов, потому что, опубликовав первую часть, я знал, последующая будет написана нескоро, и не исключено, что вовсе не будет написана. Поэтому я постарался на всякий случай дать ему законченный, самостоятельный вид, и поскольку композиция в связи с этим превратилась в определенный конкретный стилевой признак, я сохранил ее и в других частях. Так что причина формы здесь, во всяком случае внешне, весьма «прозаична» и неинтересна. Вообще мелочное деление на жанры, столь необходимое, может быть, для теории литературы, для самой литературы, на мой взгляд, не имеет никакого значения. Лично я всегда с сомнением относился и отношусь к размытым толкованиям жанров. Произведение может быть хорошим или плохим, интересным или нет, образным в большей или меньшей степени, остросюжетным или наоборот... Все это — его реальные признаки, которые непременно надо подчеркнуть, но как называть произведение — романом или повестью — чисто формальная сторона, ничего не говорящая о самом произведении. Впрочем, возможно, я вступаю в такую сферу, где ничего не смогу доказать ввиду собственного дилетантизма.

Ростом Чхеидзе — Разумеется, жанровые определения,

любые модернистские поиски в этом направлении носят формальный характер, но все имеет свое значение: литературная критика и теория не могут обойти этот вопрос... Наша литература как литература народа с суровой судьбой на всем протяжении его существования более ограничена с точки зрения тематики и проблематики в сравнении с литературой свободных стран (Европы и Америки). У нас, за редким исключением, остаются почти вне поля зрения некоторые темы или мотивы, характерные для писателей свободных стран, детальное художественное исследование подсознательного или нюансов человеческих чувств — что непосредственно не увязывается с нашими национальными проблемами — для нас выглядят роскошью. В то время, как патриотический мотив, четко пронизывающий всю нашу литературу, в глазах иностранцев скорее ее недостаток, нежели достоинство или хотя бы отличительная черта. Это естественно — им не грозила опасность вырождения, ассимиляции. Но вы как писатель и гражданин, наверное, испытываете острое желание, чтобы и в грузинском художественном мышлении была полная свобода и все условия для самовыражения.

Джемал Карчхадзе — Вы правы. Если назначение литературы — исследовать человеческую душу, наша литература из-за злосчастной ее судьбы выполняла свою миссию под определенным углом — в связи с родиной, в результате чего ее горизонт весьма ограничен, скажем так, плодоносит лишь одна ветвь дерева. Безусловно, это недостаток, и вполне естественно внутреннее желание преодолеть его. Но здесь есть одно «отягчающее» обстоятельство. Если, против обыкновения, мы будем до конца искренними, признаем, дело здесь не только в злосчастии нашей судьбы. В патриотическом мотиве мы искали и находили пользу, прибежище и неиссякаемый творческий импульс. И продолжаем звонить в колокола после того, как необходимость в этом пропала, оглушая все и вся. Расскажу вам один случай, ничего оригинального, но именно тем он и интересен. Один мой знакомый, решив поухаживать за женщиной, русской по национальности, затеял с ней весьма пространственный диалог. Надо сказать, поначалу он ее здорово ошарашил. Вместо того, чтобы, как водится, начать разговор, скажем, с погоды, он неожиданно, отвергнув традиции и опыт, избрал для вступления весьма специфичную и с точки зрения дальнейшего развития событий небезопасную тему. В частности, он взялся доказать своей новой знакомой преимущество Грузии перед Россией на том основании, что в нашем языке

имеются буквы «ღ», «ყ» и подобные, которых у русских нет. Я был свидетелем этого разговора и готов поклясться, прежде чем вступление закончилось, у бедной женщины было не подающееся описанию выражение лица. А мой знакомый так вошел в раж, что чуть не забыл главное, к чему он стремился. Особенным патриотизмом он никогда не отличался и сомнительно, чтобы родина была в первой пятерке в иерархии его привязанностей. В то же время, когда он доказывал решающее преимущество буквы «ჟ», его энтузиазм был вполне искренен — ни грана фальши. Более того, он был не просто искренним, но вдохновленным. Все это, с одной стороны, смешно, с другой, наверное, очень по-грузински. Патриотизм не такое уж безобидное чувство. Это напиток, выпьешь один стакан — полезно, два стакана — вредно, три стакана — теряешь голову. Не знаю, когда зародился в Грузии патриотический мотив (когда начался перманентный бум, определить легче), но уверен, что наши предки в этом смысле были гораздо более здоровыми людьми. Они не позволяли чувствам овладевать территорией разума. Мы превратили патриотизм (и в этом немалая заслуга литературы) в самоцель и ударились в обе крайности, с одной стороны, пришли к меркантильному патриотизму, приводящему к полной безнравственности, с другой, к идеологизации патриотизма, в крайнем проявлении которой во имя родины жертвуют и Богом, а мера любви к своей родине может стать мерой ненависти к чужой родине. Любовь к родине — естественное состояние человека (в этом смысле лучшее, на мой взгляд, сравнение с воздухом, которым дышишь, но полакомиться не можешь), а афишировать естественное состояние — неестественно. Мы говорим «мать-родина». И правильно говорим. Но разве лучший сын — это тот сын, который ежедневно выходит на балкон и на весь квартал хвалит свою мать и клянется ей, что будет беречь ее как зеницу ока и, если понадобится, пожертвует своей жизнью ради нее? Такой патриотизм в основе своей антипатриотичен. Правильно, время от времени говорить об этом вслух необходимо, особенно в такой многострадальной стране, как Грузия — если народ дремлет, его надо разбудить, если расслабляется, надо зажечь, если стал пугливым — надо подстрекнуть. Но постоянно кричать нельзя. От постоянного крика у человека голова кругом идет, он теряет почву под ногами и ударяется в упомянутые крайности. Отдельные писатели любой эпохи, естественно, могут посвятить весь свой талант патриотическим мотивам, если в этом их внутренняя потребность, но когда пат-

риотизм превращается во всеобщее явление и, более того, в средство накопления литературного капитала (в этом смысле он принципиально ничем не отличается от идейности соцреализма), тогда это — с учетом того, что читатель привычен к патристическому мотиву и в основном требует его — заговор против Господа и истинного патриотизма. Наверное, потому и считают это нашим недостатком, а удовольствуйся мы необходимым (как бы ни был велик процент этого необходимого) и не преврати мы лекарство в пищу, наверное, это было бы нашим свойством (хотя бы и специфическим), но никак не недостатком, и вообще мы были бы гораздо ближе к тому руслу, по которому течет мировая литература.

Ростом Чхендзе — Ваша историческая проза («Зебуло-ни», «Антоний и Давид», «Рахат-лухум») вполне современна с языковой точки зрения, для создания исторического колорита вы не прибегаете ни к какой стилизации. Причем это характерно не только для вас: после Левана Готуа наша историческая беллетристика отвергла путь языковой стилизации, и вместе с тем романтический взгляд на ту или иную драматическую пору нашего исторического бытия сменился реалистическим. Одно осталось неизменным: драматические эпизоды нашей жизни не стали предметом ни сатиры, ни иронии, ни даже легкого юмора. И несмотря на то, что ваши произведения на современную тему исполнены искрящегося юмора и вы часто прибегаете к средствам иронии и сатиры, в исторической вашей прозе не встречается ничего подобного.

И еще: назначение исторической прозы, с одной стороны, — определение внутренней закономерности жизни народа и восстановление духа истории, с другой, — отражение острых проблем современности в условиях жесткой цензуры. Каково, на ваш взгляд, назначение исторической прозы в наше время и вообще, в Грузии и за ее пределами?

Джемал Карчхадзе — Надо уточнить вопрос о современности языка. Во всех трех названных вами произведениях язык действительно современный, но тут есть один, и на мой взгляд, достойный внимания нюанс. Язык «Рахат-лухума» и «Антония и Давида» не может служить критерием для этого, поскольку оба рассказа ведутся от лица иностранца. Современный язык «Антония и Давида» подчеркивается еще и тем, что поскольку рассказчик в нем — просвещенный европеец, беспрепятственно осуществляется (во всяком случае таков замысел) естественная латинизация в сфере формальной структуры лексики и мышления. Мой взгляд на язык исторической прозы на-

шел отражение в «Зебулони» и, если коротко, можно сформулировать так: современный, но не сегодняшний. Я не ввожу читателя в языковую среду соответствующей эпохи, но стараюсь избежать пространства сегодняшней речи, чтобы он почувствовал себя в том нейтральном слое, через который проходит исторически самый главный, самый устойчивый нерв (разумеется, если язык не несет в произведении специфической стилистической функции). Поэтому в «Зебулони» нет (а если есть, то это мой промах) той новой лексики, новых грамматических конструкций и вновь заимствованных слов, которые могут вызвать ассоциацию с сегодняшним днем. Отношение к истории у меня — вы правы — такое же серьезное: почтительное, «дистанционное», как и у других. Что делать? Выше себя не прыгнешь. Раны Грузии — старые ли, новые — еще кровоточат. В этом случае требуется особенная художественная смелость и в то же время особенная утонченность, чтобы легкое, шутиливо-дерзкое отношение к собственной истории исключало какое бы то ни было оскорбление или искусственность. И традиции таковой у нас нет. Да, конечно, легкая фамильярность и изящная ирония, которую проявляют к собственной истории и историческим лицам, скажем, французы, прекрасна, но французы — свободный народ и страна их цела и невредима... Что касается назначения исторической прозы (вообще исторической литературы), думаю, что мистификация цензуры тут вынужденный и потому случайный толчок, можно сказать, использование жанра не по назначению. Вообще теснейший союз исторической литературы с современностью очевиден и несомненен, но союз этот органический, естественный и непреходящий и, когда мы говорим об исторической литературе, это должно быть исходной точкой зрения. Историческая проза — часть того общего интереса, который человек проявляет по отношению к истории. А этот интерес — неотъемлемая черта человека и, вероятно, признак его человечности. Существует точка зрения, согласно которой любая литература — историческая, потому что все есть история. Настоящего как реального и тем более абсолютного нечего нет. Оно условно и относительно и превращается в реальность после того, как становится историей. Объективно существует только прошлое, ибо только прошлое фиксированно. Постольку история не есть нечто самостоятельное и отвлеченное, но возможность реальности настоящего и его подтверждение. С этой точки зрения деление литературы на современную и историческую возможно лишь по формальному признаку. Ничто, кроме внутренней необходимости, не вынуж-

дает писателя обращаться к истории, и суть назначения исторической литературы, наверное, надо искать здесь. Если назначение человека в познании самого себя и мира, тогда история — тот путь, та лестница Якова, которая ведет его к этой цели. Соответственно, если цель литературы — художественное познание человека и мира, то без историко-художественного познания этого не достичь. Именно оно — та часть истории, которая является неотъемлемым достоянием творчества, той ареной, где наука никогда не заменит и не сравнится с творчеством.

Ростом Чхендзе — В «Рахат-лухуме» вы прибегаете к оригинальному художественному средству: один из эпизодов нашей истории воспринят и оценен глазами завоевателя, его исполненными ненавистью сердцем и разумом — на этом фоне показаны национальные черты, пороки нравственно деградировавшей нации. На этом же фоне — возвышенное описание самопожертвования священника Тевдорэ. Но в данный момент интересно другое — совершенно очевидно, что вы не упускаете возможности обличать безнравственность с жесткой, наиболее болезненной позиции.

Джемал Карчхадзе — Да, я еще нахожусь в плену той иллюзии, что, осознав свои пороки, мы сможем избавиться от них. Мы — малочисленный народ, фактически все друг другу родственники. Родственники не могут быть равнодушны друг к другу, не интересоваться достоинствами и недостатками друг друга и не переживать за них. Поэтому любви и ненависти между нами больше, чем равнодушия. По этой же (и многим другим, глубоко засевшим в нас) причине мы стараемся не замечать недостатков друг друга, а отсюда, само собой, и собственных недостатков. Оттого наша ненависть оправлена в золото, любовь лицемерна. О любви и ненависти не скажу ничего, но это ложное театральное преобразование постепенно нарушило равновесие между достоинствами и недостатками, не исключено, что процесс вскоре (признаки этого уже имеются) может стать необратимым, и мы, по существу, станем иным народом. Поэтому — я не оправдываюсь и не отстаиваю принципов — чем более болезненно будет обличение, тем лучше. Пришло время (откладывать уже нельзя) диаметрально изменить в этом смысле образ жизни; достоинство тихо должно делать свое дело, а недостаток вопить о себе.

Ростом Чхендзе — Необратимый процесс нарушения равновесия между достоинствами и недостатками, сказали вы, может превратить нас, по существу, в иной народ, и окружаю-

щая действительность обостряла и обостряет подобные скептические настроения. Возникает опасность, как бы нас не подавило чувство национального нигилизма. Но луч надежды никогда не гаснет, и он обнадеживает, что процесс не станет необратимым. В сердце самого ущербного в нравственном отношении общества непременно остается потребность в честности, сочувствии, любви, справедливости, в самопожертвовании, в способности ценить их... И эти истины рано или поздно восстановят его иссякшую энергию, его омраченное сознание. Я вспоминаю финал вашего рассказа «Иги», когда герой, выделяющийся среди соплеменников, именно за это обречен на смерть, но он не поступается своими нравственными убеждениями и предстает перед нами предтечей нового общества, перед самой смертью он убеждается, что именно его согбенные узколобые братья более всего — больше голубых небес, далеких склонов, моря и леса — молят: пусть выпрямится Иги! Пусть пробьет себе дорогу Иги! Эта мольба пока только в их глазах, но как бы непонятно ни было для них духовное величие Иги, благодаря истине, сокрытой в их душах, они чувствуют его великую правду, понимают значение его самопожертвования, необходимость нравственного возрождения.

Джемал Карчхадзе — Не сомневаюсь, что множество будет приведено к единице, а единица, как основа основ, есть добро. Надежда, как говорится, умирает последней, и это, вероятно, свидетельство бессмертия добра. Но это, что касается общей сути. Конкретный организм, а народ есть конкретный организм, подчиняется закону рождения и смерти и хочет он того или нет, включает в себя такие понятия, как преображение, соблазн, падение, ассимиляция, вырождение и др. Отсюда нетрудно сделать вывод, если добро победит, то только ценой великих жертв. Прежде всего в жертву будет принесен тот, на кого черт наденет ярмо, а не тот, кто был под чертовым ярмом. Мы стоим именно перед этим тяжким испытанием. Мы приблизились к тому рубежу безнравственности, когда мамона окончательно может превратиться в божество, и дороги назад не будет. И дело не в том, что мы — народ, чье христианское человеколюбие даже кровного врага не посылало на смерть, — сегодня аплодисментами встречаем смертный приговор; и не в том, что мы — народ, чьи мягкосердечность и терпимость не могли не простить даже самый тяжкий грех — сегодня и на учредительном съезде милосердия призываем собратьев к кровной мести; и не в том (впрочем, этот случай в Грузии, насколько мне известно, беспрецедент-

ный), что мы — народ, который в приданое девушке давал книгу — сегодня на площади Руставели, перед памятником Руставели требуем сожжения книг грузинских писателей. В душе человека заложена идея добра, но он склонен ко злу. Поэтому безнравственность в природе вещей, и ничего необычного здесь нет.

Наша беда в том, что отдельные проявления безнравственности связались между собой, организовали единую сеть, в результате чего она получила качественно новый вид, и из отдельных фактов безнравственности создалась безнравственная атмосфера. Мы смирились с этой атмосферой, прониклись ею, подогнались под нее. Правда, среди нас есть и те, кто еще верит в Бога, а не в мамону (последняя опора надежды!), несколько людей в сегодняшней Грузии способны с волнением прочесть тот эпизод из Евангелия, в котором Спаситель моет ноги своим ученикам? За этим — катастрофа. Болото. И что характерно, болото — катастрофа до тех пор, пока не погрузишься с головой, потом наступает бессмысленная удовлетворенность. Болото теплое, мягкое, липкое, погрузившись в него, забываешь, кем ты был, откуда пришел, куда направлялся, чего хотел... Оптимистично квакают лягушки, и все раны лечатся социальным бальзамом. Это не «художественное преувеличение», это — реальная перспектива. И для того, чтобы она не стала реальностью, недостаточно верить в добро. Сегодня уже и звонить в колокола недостаточно. Сегодня все раны, которые еще не затянуло, надо сыпать солью. Наша эпоха — эпоха разумного начала, эпоха трезвого ума. В такое время безликая масса очень опасна. Необходима максимальная мобилизация разума, пока еще возможно, чтобы масса распалась на личности, чтобы в каждой голове зажглась индивидуальная свеча и каждый раскрыл глаза и увидел, что стоит перед пропастью. Сама масса — если идея «Иги» верна — требует распада на личности, несмотря на то, что яростно борется именно против этого. Словом, загрязнение нравственности достигло критической точки, и для нас, грузин, в эту эпоху, полную проблем, одной из самых сложных и неотложных является проблема нравственной экологии.



Андрэ КАРБЕЛАШВИЛИ

Грузины в Бельгии

На рубеже XX века грузинское общество проявляло большой интерес к политической, культурной и экономической жизни передовых стран мира. Примером тому может служить особенное внимание грузин к далекой Бельгии. Выходящие в Грузии журналы и газеты систематически публиковали статьи о Бельгии и бельгийцах, в то же время подробно сообщая о деятельности находящихся там грузин. Интересно, что те, в свою очередь, посылали в Тбилиси свои статьи о бельгийских деятелях.

Пространные статьи, в частности, Ладо Дарчишвили, под общим заголовком «Из Бельгии», опубликованные в журнале «Квали» в 1899 и 1901 гг., свидетельствуют о том, что грузинский автор в Бельгии хорошо знал эту страну.

С 17 по 30 августа 1904 года в Брюсселе проходил VI Международный конгресс физиологов, в работе которого принимали участие двое грузин — Варвара Кипиани и Иванэ Тархнишвили.

О грузинах — участниках конгресса физиологов подробно писал из Брюсселя Реваз Габашвили. Его статья была напечатана в газете «Цнобис пурцели» (№ 2800) в 1904 году.

Автор пишет об ученых, приехавших на конгресс — англичанине из Кембриджа, японце из Токно, сделавшем свой доклад на немецком языке.

Вот внимание автора привлекает «представительный мужчина с прекрасным лицом. Усы и борода его вместе с зачесанными назад волосами были тронуты сединой, но черным, как угольки, и живым глазам его могли позавидовать и молодые.

— Простите, вы не скажете, кто этот человек? — спросил я своего соседа.

— Как, вы не знаете его? Это же выдающийся русский ученый Тарханов! — ответил он.

— Тарханов! Ну как же, конечно, я слышал о нем! — ответил я смущенно и еще более внимательно всмотрелся в его прекрасное лицо. Мне было приятно смотреть на него, и в то же время я почувствовал, как мною овладевает грусть.

В этот момент председательствующий объявил, что слово для доклада имеет Варвара Кипиани.

Боже мой! Неужели я дождался того дня, когда на конгрессе ученых выступает грузинка! В зале почувствовалось оживление, все с интересом смотрели на молодую привлекательную женщину, которая поднималась на кафедру. Она была бледна от волнения. У меня забилося сердце. Я испугался, как бы она не растерялась, не запнулась. Шутка ли, выступать перед таким собранием! И чтобы как-то отвлечься от этих мыслей, я повернулся к соседу и спросил: Вы не знаете, откуда эта женщина?

— Она из Грузии, — ответил он и, уверенный, что я не знаю, что это за страна, выдал мне короткую справку о Грузии и грузинах, я же кивал головой, как будто слышал все впервые, с замиранием сердца ожидая первых слов докладчицы.

Варвара Кипиани говорила о влиянии сахара на деятельность «двигательных» нервов, подтверждая результаты своих исследований формулами, говорила просто, ясно и доходчиво.

Когда она кончила говорить, в зале раздались продолжительные аплодисменты. Профессор Тархнишвили стоя аплодировал Варваре Кипиани, и это было самой большой наградой для нее.

Кто же был Иванэ Тархнишвили и как он попал в Брюссель?

Иванэ Тархан-Моурави (Тархнишвили) (1846—1908) был известным грузинским физиологом. В 1863-64 годах он учился на отделении естествознания физико-математического факультета Петербургского университета, в 1869 году закончил медицинско-хирургическую Академию в Петербурге, в 1871 защитил докторскую диссертацию и в том же году приехал в Тбилиси для чтения цикла публичных лекций по физиологии.

Вот, что писал Георгий Церетели о пребывании Ив. Тархнишвили в Тбилиси в газете «Квали» в 1895 году: «В 1871 г. Ив. Тархнишвили приехал в Тбилиси и прочел несколько публичных лекций по экспериментальной физиологии в зале Кружова. Подготовка препаратов к этим лекциям была доверена

мне, П. А. Измайлову и А. А. Иванову. Господи, со скольких лягушек тогда мы содрали кожу и обнажили спинной мозг, но так, чтобы лягушки остались живыми.

Зал Кружова был заполнен до отказа. Особенно интересовались лекциями женщины. Все только и говорили о таланте молодого профессора и, надо сказать, что он в какой-то степени разбудил спящую тбилисскую общественность. Благодаря ему грузинская молодежь, особенно женская ее половина, вновь испытала желание учиться. И то движение среди тбилисской молодежи, которое началось в 1873 году, в определенной степени обязано живому научному слову Ив. Тархнишвили.

— Я так понимаю свой долг перед родиной, — сказал в узком кругу Ив. Тархнишвили, уезжая в 1871 г. из Тбилиси, — я должен доказать русскому народу, что грузин со своим талантом и умом может поспорить не только с выдающимся русским ученым, но и с лучшими учеными Европы. Мне не дает покоя нелестное мнение профессора Сеченова о грузинском народе: вам не осилить трудов европейских ученых, — сказал он, — ваш скованный разум не способен на научное исследование, достигающее высшей точки».

В течение двух лет после этого И. Тархнишвили находится за границей. Затем он работает приват-доцентом военно-хирургической академии Петербурга, а впоследствии (1877—1895) — профессором. В 1895—1901 гг. читает лекции в Петербургском университете.

В 1901 году грузинского ученого приглашают читать лекции в Брюссельский университет. Он являлся членом Парижского биологического общества. В 1900 году на Парижской Международной выставке его наградили орденом «Почетного легиона».

Однако вернемся к Варваре Кипиани.

Вокруг ее доклада на конгрессе развернулись интересные дебаты.

Автор статьи Реваз Габашвили упоминает имя профессора Брюссельского университета госпожи Иотэко (польки по национальности). Оказывается, госпожа Иотэко проявляла интерес к жизни Грузии, особенно к жизни грузинской молодежи. И то, что Варвара Кипиани получила возможность выступить на конгресс, было ее заслугой. Варвару Кипиани исключили из Брюссельского университета из-за неуплаты за учебу. Тогда профессор Иотэко приняла ее в свою лабораторию, давая тем самым возможность платить за учебу.

По этому случаю автор письма Реваз Габашвили с болью

отмечает: «Я думаю, нашей общественности следует знать, что внушки основателя* Дворянского банка Дмитрия Кипиани опекаются в чужой стране чужими людьми, а наше дворянство отказало им в стипендии. Так оно понимает чувство благодарности и свои обязанности!».

Варвара Николаевна Кипиани в 1899 году закончила Тбилисское училище Св. Нино, в 1901 г. поступила на медицинский факультет Брюссельского университета. С 1908 года она — ученый секретарь одного из журналов этого университета.

Варвара Кипиани исследовала средства определения видов человеческой памяти, психологические основы воспитания и многие другие вопросы. Ряд ее трудов отмечен премиями. Она читала в Брюссельском университете и лекции по грузинской и русской словесности и внесла большой вклад в дело популяризации грузинской культуры.

Отец Варвары Кипиани, Николоз, был старшим сыном Дмитрия Кипиани, известным грузинским общественным деятелем, ученым и публицистом. Окончив Тбилисскую гимназию, он поступил на юридический факультет Петербургского университета. В 1868 г. был арестован за революционную деятельность и исключен из университета. В 1870 году занимается адвокатской деятельностью в Кутаиси. С 1871 г. сотрудничает в газете «Дрозба».

В 1890 г. он отправляется на лечение в Бельгию и всю оставшуюся жизнь проводит в этой стране. Николоз Кипиани скончался в Брюсселе 1 мая 1905 года.

Находясь в Бельгии, он не прерывал связей с Грузией. Его воспоминания об отце были напечатаны в журналах «Квали» (1893, № 15) и «Моамбе» (1894, № 4).

Нико Кипиани основал в Брюссельском университете кафедру полиглотов. В 1905 г. вышли его очерки о царицах Тамар и Кетэван на французском языке. Он явился также основателем феминистского общества. Его дочери стали известными учеными и общественными деятелями.

* * *

И еще об одной нити, связывающей Грузию с Бельгией.. История грузинского народа сохранила имена многих наших соотечественников, которые своей жизнью, деятельностью и

* В 1902 году газета «Иверия» (№ 264) извещала о поступлении в Брюссельский университет двух внушек Дмитрия Кипиани — Варвары и Нино.

даже смертью стали примером для будущих поколений. Царица Кетэван, прозванная в народе мученицей и причисленная грузинской православной церковью к лику святых, особенно дорога нам. Поэтому любые новые данные о ней вызывают наш интерес.

Как известно, царицу Кетэван по приказу Шах-Аббаса подвергли пыткам и умертвили в 1624 году. Как сообщает «Календарь Грузии» за 1893 год «свидетелями мук Кетэван среди прочих были и католические священники. После смерти царицы они заполучили ее останки, часть отослали в Европу, а часть — в Кахети царю Теймуразу, который предал их земле в церкви Алаверди».

А вот, что писал журнал «Цискари» в 1857 году:

«Спустя какое-то время... пришли к царю Теймуразу старцы-монахи из латинян, бывшие в городе Ширазе во время мученичества Кетэван. Это они забрали останки святой и разделили их на две части, умастили благовониями, завернули в чистое полотно и с большим почетом, как Христову мученицу, привезли в Грузию, к сыну ее царю Теймуразу... Вторую часть праха мученицы латиняне забрали с собой в свою страну Бельгию, в город Намюр...»

Сохранилась ли могила царицы Кетэван в Намюре или от нее не осталось и следа?

В 1914 году газета «Сахалхо пурцели» в своем приложении напечатала фотографию с подписью: «Бельгийская крепость Намюр: в первом ряду зданий находится собор, где похоронена Кетэван-мученица». Автор фотографии отметил здание небольшим крестиком.

Сохранился ли этот собор до наших дней? Как мне удалось выяснить, это кафедральный собор Святого Обена. Он был воздвигнут в 1751—1767 годах по проекту архитектора Пизона в стиле итальянского ренессанса. Рядом с собором стоит колокольня в готическом стиле. Это то, что осталось от старой церкви Святого Обена.

Нередко города Грузии становятся побратимами зарубежных городов, с которыми у них нет никакой исторической связи. Было бы хорошо, если бы грузины установили дружеские отношения с Намюром, или со всей провинцией, в память о тех далеких временах, когда бельгийцы оказали уважение и почет достойной дочери грузинского народа.



ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ

Грузинская литература понесла тяжелую утрату — 14 января 1992 года скончался один из крупнейших поэтов, выдающийся общественный деятель Ираклий Виссарионович Абашидзе.



И несмотря на то, что ему было за восемьдесят, смерть его оказалась для всех неожиданной. Сердце поэта не выдержало братоубийственной войны, не выдержало повторения Базалетской битвы, не смирилось с разобщением родного дома — Грузии...

Жизнь Ираклия Абашидзе, его замечательное творчество — отражение новейшей, бурной и противоречивой истории Грузии. Трудно переоценить его деятельность, трудно перечислить все, сделанное и написанное им. Достаточно сказать лишь об издании «Грузинской энциклопедии» и юбилее Шота

Руставели, об экспедиции в Иерусалим и поэтическом цикле «Палестина, Палестина...»

Но Ираклий Абашидзе прежде всего поэт, большой поэт, на произведениях которого воспитывались целые поколения. Его поэзия всегда будет звучать в наших душах. Его творчество вошло в сокровищницу грузинской литературы. Оно является уникальным спутником для тех, кто желает найти истинный путь в сложнейших лабиринтах общественно-политической и духовной жизни Грузии последних 70—80 лет.

Ираклий Абашидзе прожил яркую, интересную жизнь, которой всегда сопутствовали и мечты, и безнадежность, и энтузиазм, и пессимизм, и созидание, и разрушение, и дружба, и предательство...

И как бы пригодилась сегодня всем нам, всей Грузии его мудрость и дальновидность. И как всем нам не хватает сегодня его слабого, но вместе с тем мощного голоса, который бы призывал к единению, к национальному согласию и миру.



Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГА-
ГУА, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Сер-
гей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (за-
меститель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

Технический редактор К. Котомина

Корректор Е. Сопромадзе

Сдано в набор 4.12.91 г. Подписано к печати 7.05.92 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Печать
высокая. Печ. л. 7,0. Усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0 Ти-
раж. 2.500. Заказ 2190. Цена 2 р.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

При обнаружении полиграфического брака просим обращаться
типографию Издательства «Самшобло», по вопросам подписки
доставки журнала — в «Союзпечать».

Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного
редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, прием-
ная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Типография Издательства «Самшобло», Тбилиси, ул. Костава, 14.

2 руб.

66/47

ИНДЕКС 76117

გაბრიელ ურბნის თანამედროვე მხატვრული და
სამხატვრო-ფორმალისტური პერსონალიზმის
ადგილმდებარეობა საქართველოში
(პრობლემატიკა)

გაბრიელ ურბის მხატვრული კარიერის თვალსაზრისით
გამოვლითი 1937 წლის მიხედვით

თბილისი

«Литературная Грузия» 1992. № 1. 1--224